



## Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

---

- [Е. А. Соловьев](#)
    - [ГЛАВА I. \(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ\)](#)
    - [ГЛАВА II](#)
    - [ГЛАВА III](#)
    - [ГЛАВА IV](#)
    - [ГЛАВА V](#)
    - [ИСТОЧНИКИ](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
-

**Е. А. Соловьев**  
**Осип Сенковский. Его жизнь и**  
**литературная деятельность в связи с**  
**историей современной ему журналистики**

*Биографический очерк Е. А. Соловьева.*  
*С портретом Сенковского, гравированным в*  
*Лейпциге Геданом.*

## ГЛАВА I. (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

*Характеристика русской журналистики вообще. – Журналистика двадцатых и тридцатых годов. – Н.А. Полевой и “Московский телеграф”. – Надеждин. – “Телескоп”. – “Система” эпохи Николая I. – Судьба интеллигентной мысли. – Цензурные строгости. – Запрещение “Телескопа”. – Письмо Чаадаева. – Булгарин*

Журналистика, хоть сколько-то напоминающая современную нам, выступила на сцену еще при жизни императора Александра I, в двадцатых годах нашего столетия. Русская мысль того времени склонялась к оптимизму, к жизнерадостному настроению и полному примирению с окружающим. Литература с замечательным талантом проводила эту точку зрения на жизнь, во имя которой работал и Пушкин. Самое недовольство бытием принимало форму не лермонтовских проклятий, не “романтических” взрывов негодования, а грустной элегии, поэтической меланхолии, которая служила очень милым и красивым дополнением к господствовавшему эпикуреизму. То бурный и вакхический, как в стихотворениях Языкова, то тихий и наивный, как у Жуковского, то с философским колоритом, с признанием первенствующей роли за эстетическими наслаждениями, как у Пушкина, – этот эпикуреизм, принимая различные формы, оставался верен самому себе, заставлял искать примирения с жизнью, и действительно все деятели двадцатых годов в конце концов нашли его: Жуковский – в религии и русофильстве, Пушкин – в творчестве, Языков – в покаянии и смирении личном, в гордости своей родиной. Конечно, это не единственное настроение двадцатых годов, но настроение господствующее, завещанное первой половиной александровской эпохи, когда так легко верили и так весело, шутливо жили. Сами литературные нравы того времени так резко отличались от наших, что нужно особенное усилие, чтобы составить о нем хотя бы приблизительное понятие. уж ни в коем случае литература не была потребностью, и тем более необходимой потребностью, как в настоящее время. Большинство публики смотрело на нее как на роскошь, сами писатели даже и не мечтали ставить перед ней какие-нибудь практические цели. Поэты творили прежде всего для самих себя и охотно признавались, что искание славы, то есть влияния на современников, есть слабость человеческая, достойная порицания. Так думали и Пушкин, и Жуковский, так думали и те, кто группировался возле них, и во всяком случае

литература и жизнь ничего общего между собою не имели: если последняя была пустыней, то первая – ничем иным, как миражем среди этой самой пустыни. Знаменитая формула “искусство для искусства” не могла даже встретить какого-нибудь возражения, она была одной из аксиом, одной из заповедей, написанных на скрижалях творчества. Возьмите наших писателей, олимпийцев того времени, возьмите прежде всего Пушкина и его учеников. Для чего писали они? На этот вопрос с их стороны нет ответа, и во всяком случае Пушкин с презрением оттолкнул бы его от себя. Писать для чего-нибудь можно разве канцелярскую бумагу или какой-нибудь проект ассенизации; можно писать лишь *потому*, что есть потребность творчества, потребность настойчивая и деспотическая, такая же, как потребность есть, пить, спать, без удовлетворения которой нет полноты жизни и довольства; можно писать лишь по призыву внутреннего чувства, чтобы воплотить тревожные образы, дать выход и простор накопившемуся в душе. Писатель – это жрец, стоящий перед неведомым богом искусства, но никак не перед толпой современников.

Само собою разумеется, что подобное настроение было очень далеко от мысли взваливать на литературу какие бы то ни было общественные задачи и ставить перед ней какие бы то ни было практические цели. Литература служила обществу, гуманизировала его, воспитывала его мысль и чувство – это несомненно; но все это делалось помимо самих писателей, лучшие из которых держались на литературу своей собственной точки зрения, решительно ничего не имея против того, чтобы художественные образы воздвигались, говоря метафорически, на болоте общественной жизни, чтобы чудные создания искусства точно камни драгоценные с неба падали в обстановку, столь далекую от их блеска и красоты. Литература просто-напросто была аристократической. Ценителями и судьями был строго ограниченный кружок писателей-олимпийцев, мнение массы игнорировалось столько же, сколько и ее стремления и цели ее бытия. В своей творческой деятельности поэт искал прежде всего наслаждения, смело и свободно отдавался он порыву вдохновения, не тревожа себя мыслями о земных задачах и противоречиях. Он был художником в лучшем, но вместе с тем и самым узким смысле этого слова.

Он искал наслаждения в творчестве, и забота о “мелкой” жизненной правде не всегда тревожила его душу.

Трудно сказать, в какой глухой переулочек завело бы подобное направление, однако на сцену выступила журналистика.

Нельзя отрицать, что журналистике вообще в деле сближения литературы и жизни пришлось сыграть выдающуюся, хотя и не

исключительную роль. Кому же, как не журналистике, Россия обязана тем, что в ней в настоящее время обретается такая масса читателей? Это одно чего-нибудь да стоит, и с нашей точки зрения стоит очень многого. Без этой массы народа, способной интересоваться написанным и понимать его, литература никогда бы не могла сделаться общественной силой, она все еще уподоблялась бы прекрасной картинной галерее, вход в которую доступен очень немногим. Масса читателей нужна, необходима даже, чтобы вывести литературу из очарованного круга чисто эстетических задач и идеалов и превратить писателя в общественного деятеля. Конечно, мадонна Рафаэля сама по себе ровно ничего не выиграет и ровно ничего не потеряет, будут ли на нее смотреть пять или пять тысяч человек: в том и другом случае она одинаково остается дивным созданием искусства, великим памятником того, до какой высоты может подняться дух человеческий; но влияние художественного творчества на жизнь складывается не из одного элемента, то есть достоинства самого произведения, а из двух: достоинства – это во-первых, общедоступности – во-вторых. Во имя этой общедоступности, во имя распространения и популяризации и работала всегда русская журналистика; и работала, надо отдать ей полную справедливость, и энергично, и, в сущности, умело.

Двумя путями создавала она массу читателей: с одной стороны, предоставляя интересное, разнообразное и доступное чтение, с другой, – популяризируя знания, воспитывая людей и подводя их понемногу к тем высотам, до которых добрались художественная литература и наука. Оттого-то журналы и играли всегда такую выдающуюся роль у нас в России, оттого-то и возможно утверждать: “В истории нашего умственного развития журналистика является как бы центральной осью”. Журналистика, повторяем, это постоянный посредник между художественной литературой и наукой – и массой публики.

Ведь то же самое, что мы говорили об аристократизме художественной литературы, вполне применимо и к науке, применимо даже теперь, не говоря уже о том, что было 50 лет тому назад. Еще в сороковых годах Белинский писал: “Наука у нас – слишком слабое и нежное растение, которому некогда было даже пустить корней, не только развернуться пышным и благоуханным цветом. Это, впрочем, не значит, чтобы у нас не было науки; это значит только, что наука на Руси до сих пор еще что-то вроде элевсинских таинств, – исключительное достояние небольшого избранного класса людей, а не целого общества, как в Западной Европе. Многие еще из посвящающих себя исключительно науке у нас учатся не для знания, а для аттестатов, открывающих путь к разным преимуществам

по службе. Заседания ученых обществ в глазах нашей публики – нечто такое, на что должно смотреть с приличною важностью, не зевая. Сам Араго не привлёк бы своими статьями и отчётами разнообразной и полной просвещённого интереса толпы”. Если это справедливо для сороковых годов, то что же сказать о двадцатых и тридцатых? То только, что наука была для массы совершенно посторонним предметом.

Очевидно, что журналистика, приняв на себя отчасти в силу необходимости, отчасти по доброму желанию своих руководителей роль посредника между массой, с одной стороны, и художественной литературой и наукой, с другой, должна была выбрать энциклопедическое направление и развить по возможности отдел литературной критики. Та и другая особенности сразу бросаются в глаза, не только если вы возьмете на себя труд перелистать старые журналы двадцатых, тридцатых и сороковых годов, но и журналы настоящего времени. Статьи по естествознанию, статьи по истории, языкознанию, биологии, социологии, психологии чередуются с романами и повестями. *Utile cum dulci*<sup>[1]</sup> – таков девиз, провозглашённый ещё “Московским телеграфом” Полевого, “Библиотекой для чтения” Сенковского, “Отечественными записками” и так далее. Рядом со всем этим – литературная критика, и притом на самом почетном месте. Роль и значение этой критики нашли себе прекрасную оценку в статьях Белинского. Вот что, между прочим, говорит он: “У нас общественная жизнь преимущественно выражается в литературе; поэтому нет ничего мудреного, если все наши журналы по преимуществу журналы литературные, наполняемые или произведениями литературы, или толками о литературе”. И дальше: “Без литературного мнения, сколько-нибудь оригинального и самобытного, высказываемого с большим или меньшим умом и талантом, теперь и у нас журнал уже не может иметь успеха. Критика, в отношении к успеху и влиянию журнала, начинает становиться едва ли не важнее самих повестей. Правда, под критикою у нас еще не все разумеют рассмотрение произведений искусства на основании науки изящного; напротив, большая часть публики добродушно почитает критикою всякую болтовню о литературных предметах, всякую рецензию на пустую книжонку, – и потому у нас стоит только назвать себя критиком, чтобы прослыть критиком... но все же душа журналистики – литературная критика”.

Если читатель согласен с изложенным выше взглядом на журналистику и на ее роль у нас, на Руси, то как нельзя более понятными будут для него и нижеследующие слова Белинского, сказанные им в 1841 году: “Итак, этот успех журналистики, душа которой – критика, служит

самым ясным и неопровержимым доказательством, что литература наконец укоренилась на почве русской национальности, вошла в жизнь общества, сделалась его обычаем и живою потребностью и уже перестала быть внешним нововведением, модою или книжным педантизмом”.

Этим успехом журналистика обязана прежде всего себе самой, и мы скоро увидим, как недешево он ей достался.

\*

Вспоминать о журналистах тридцатых и сороковых годов – значит вызывать перед собой скорбные тени. Глубокая пропасть времени, лежащая между нами и ими, позволяет отнестись к ним без ненависти и раздражения, и, как только мы устраним эти чувства, нами не может не овладеть самое искреннее сострадание. Многие из них были смелыми и хорошими, даже честными людьми, многие не остались таковыми, выбрав тяжелую и многотрудную карьеру журналиста. Перед нами тень Надеждина, разбитого параличом после неожиданной для него поездки на Вятку; тень Полевого, потерявшего все: талант, силу, здоровье, славу – в борьбе с неумолимыми обстоятельствами. Скорбные тени многострадальных людей, которым если не все, то многое простится даже за малое содеянное ими, ибо и малому приходилось отдавать недюжинные силы...

Начнем с Полевого. Белинский, Панаев и вообще кружок “Современника” произнесли ему когда-то суровый приговор. Вот, например, что говорит Панаев в своих литературных воспоминаниях: “Немногие даже из замечательных людей берегают до старости то живое начало, ту смелость духа, те благородные стремления, которые одушевляли их и давали им силу в молодости...” Грустно смотреть на этих ослабевших людей, но “... ничто не может быть жалче и печальнее, когда видишь человека, разбитого жизнью, бессильного, пережившего самого себя, старающегося насильно удерживать за собою власть, принадлежавшую ему некогда по праву, – человека, прикидывающегося молодцом, когда уже ноги дрожат и изменяют ему на каждом шагу, и с робкой завистью отрицающего действительную силу, проявляющуюся в новом поколении. Такое зрелище представлял, к сожалению, в последние годы своей жизни некогда сильный литературный боец, под влиянием которого воспиталось почти все наше поколение. Я говорю о Полевом... Если бы он, после рокового произвола, обрушившегося над ним, присмирел поневоле и продолжал бы честно и



смирению трудиться с единственной целью поддерживать свое многочисленное семейство, имя его осталось бы незапятнанным в истории русской литературы. Но Полевой с испугу поспешил употребить слабые остатки своего таланта на угодничество, лесть, которых никто от него не требовал; беспрестанно унижал без нужды свое литературное и человеческое достоинство, протягивая свою руку людям отсталым, пошлым, защитникам тех принципов, против которых он когда-то ратовал, отъявленным негодяям, и, что всего хуже, с завистливою ненавистью обратился к новому поколению... Хотя он совершенно потерял в последние годы свое литературное значение, но смерть его на мгновение примирила всех с ним. Полевой, восхвалявший романы частного пристава Штевена, писавший “Парашу-сибирячку” и другие тому подобные произведения, был забыт. В простом деревянном гробе, выкрашенном желтою краскою (он завещал похоронить себя как можно проще), перед нами лежал прежний Полевой, тот энергический редактор “Московского телеграфа”, которому мы были так много обязаны нашим развитием...”

Жестокая правда скрыта в этих словах, но правда односторонняя, слишком, я бы сказал, сухая. Мы имеем полное право несколько иначе отнестись к Полевому.

Странная и даже ужасная судьба выпала на его долю.

Нужен великий художник, чтобы изобразить эту простую и вместе с тем исполненную трагизма жизнь! Автор “Истории русского народа”, предшественник Лермонтова по настроению, сильный боец и передовой человек, гибкий и энергичный ум, открытое, живое сердце – это Полевой в первой половине своей жизни. Автор заядлопатриотических произведений, сотрудник Булгарина, человек, не останавливающийся ни перед какими унижениями, торгующий своим талантом и быстро промотавший свою великую славу на скользком пути подслуживания, – это тот же Полевой, но уже после закрытия “Московского телеграфа”. Что же случилось? Панаев объясняет такую перемену испугом и материальными затруднениями. Полевой был сломлен по пословице: сила соломѣ ломит.

Расскажем вкратце его литературную биографию. Она избавит нас от необходимости произносить неприятный приговор самому видному из русских журналистов вплоть до Белинского и, быть может, хоть отчасти послужит ему оправданием. Тем более мрачными покажутся нам различного рода не зависевшие от него обстоятельства.

Полевому было с небольшим 20 лет, когда он принялся за издание “Телеграфа”. Нельзя не согласиться, что, несмотря на свою молодость, он был как нельзя лучше приготовлен к роли журналиста. Не особенно

образованный, он обладал, однако, многочисленными и разнообразными знаниями; писал он легко, свободно и всегда литературно, прекрасно владея своим несколько резким и оригинальным юмором, а главное – он был достаточно смел, чтобы довериться своему вкусу и настроению. Как истинный журналист писал он обо всем: о русской и всеобщей грамматике, о санскритском языке, о всеобщей истории и русских летописях, о театре и политической экономии, о промышленности и о Шекспире, о научных теориях и об искусстве, о преобразованиях и успехах во всех областях человеческой деятельности. Конечно, академия имеет полное право не причислять его к лику своих членов, а наука – отнюдь не меньшее – забыть его, но нам трудно не вспомнить с благодарностью об этой кипучей, разносторонней деятельности. Она имела большой смысл и в свое время сыграла роль прекрасного толчка – и притом очень энергичного. Полевой повсюду с резким и грубоватым даже юмором нападал на заснувших лентяев и педантов; он буквально не давал им покоя, в какие бы специальные сферы или норы они ни прятались. Он по пятам преследовал ученое и литературное самодовольство, безжалостно осмеивая его представителей, искренне утвержденных в мысли о своей гениальности вследствие какой-нибудь плохо изданной компиляции по немецким учебникам. Если и в настоящее время нередко попадают люди, основывающие все свои претензии на величие лишь на том, что им известна грамматика такого языка, который даже не снился простому смертному, то что же было 60–70 лет тому назад? Все равно как каждый строчивший библиографические заметки наивно воображал себя критиком, как автор дикого стихотворения требовал причисления к сонму поэтов, так и ничтожный компилятор находил в своей душе достаточно самоуверенности, чтобы мнить себя жрецом науки и со своей высоты с презрением посматривать на окружающее вообще, на человечество в частности. У Полевого на этот счет была своя собственная точка зрения, не достаточно резко сформулированная, быть может, не совсем ясная даже для него самого и все же замечательная и для нас очевидная. Эта точка зрения, одушевленная впоследствии гением Белинского, согретая его чудным, бесконечно любящим и верующим сердцем, составила всю славу нашего великого критика. Я говорю, конечно, об общественной точке зрения. Не особенно симпатичная, если она предлагается нам в слишком искаженном виде, еще менее симпатичная, когда ее применяют механически и односторонне к произведениям науки и искусства, она, однако, всегда имела и будет иметь большое значение. Прекрасно сформулирована она Белинским: “Свобода творчества, – говорит он, – легко согласуется со

служением современности: для этого не нужно принуждать себя писать насильно, насиловать фантазию; для этого нужно быть только гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить его интересы, слить свои стремления с его стремлениями; для этого нужна симпатия, любовь, здоровье, практическое чувство истины, которое не отделяет убеждения от дела, сочинения от жизни”.

Всякому известно, какой переворот в наших взглядах и понятиях произвела эта общественная точка зрения; несомненно, что она была у Полевого. И понятно теперь, почему он с такой энергией преследовал всяких ученых педантов и “птичьих” поэтов: на любую деятельность – все равно, научную или литературную, – он смотрел прежде всего как на деятельность общественную. Большой поклонник Пушкина, вполне убежденный в его гениальности, он нападал даже на него. “Полевой, – говорит А. Скабичевский в своей “Истории новейшей литературы”, – представил в своем “Московском телеграфе” первые задатки оценки писателей, принимая в соображение не одну степень талантливости и эстетические достоинства произведений, но также и политическую репутацию. Так, при всех похвалах, расточаемых им Пушкину, он, насколько возможно, довольно прозрачно проводил ту мысль, что Пушкин уже не тот, что был, и, нападая на его стремления к великосветскости, ясно намекал на те новые, официальные связи и отношения, которые завязались у Пушкина после 1826 года”.

Сильный и остроумный писатель, враг всякого авторитета, прекрасный полемист, Полевой очевидно должен был возбудить против себя многих, и целая стая литературных недругов буквально не давала ему ни минуты покоя. Совершенно прав его брат, говоря:

“Издатель “Московского телеграфа” только начал свое литературное поприще и уже в первое время существования его Журнала был, можно сказать, осыпан нападениями и обвинениями всякого рода, начиная от обыкновенных литературных противоречий до самых дерзких и нелитературных выходок. Он был не Карамзин, не прославленный ученый и профессор; он учился не в университетах, не в академиях; а в глазах тогдашней публики было важно не только это обстоятельство, но и то, что у него не было дипломов ни на какое ученое звание, что так усердно старались пояснить благородные, повитые на щитах его противники. Они упрекали, кололи его званием; выводили последствия, по их мнению очень логические,

что звание купца, следовательно торговца, промышленника, несовместно с литературными занятиями, и, почитая его каким-то париею среди благородных каст, на этом основании позволяли себе дерзости, каких не осмелились бы сказать другому. Наконец издатель “Московского телеграфа” мог опасаться, что с ним сбудется то, что Бомарше вложил в уста Дона Базилио о клевете: “Самая пошлая, самая нелепая клевета оставляет после себя след”.

В этих клеветах, в этих злостных и упорных нападках на Полевого как нельзя лучше проявились “булгаринские” нравы литературы того времени. Но на Полевого нападали и с другой стороны.

В нем на самом деле была та самостоятельность мысли и чувства, которая так не нравилась 50 лет тому назад. В литературе Полевой выступил защитником романтизма, в истории – противником Карамзина. Обратим внимание на последнее обстоятельство, оно этого заслуживает. Как писал Карамзин свою “Историю” – известно: это история государства, а не народа, это панегирик внешней силе и внешнему могуществу, это прекрасный арсенал всех аргументов национального самодовольства. Народа на сцене нет, вместо философской точки зрения господствует нравственная. Приобретение удела – великая заслуга, эпитетами “добродетельный” и “недобродетельный” пестрят страницы. Сентиментальный моралист повсюду стоит рядом с панегиристом силы.

Как бы в ответ на “Историю государства Российского” Полевой пишет свою “Историю русского народа”. Это прекрасная книга, не потерявшая своей цены еще и до нынешнего времени. Для людей же двадцатых и тридцатых годов она была настоящим откровением. Молчаливый и закабаленный народ впервые *заявил* о своем непосредственном участии в деле создания и государства, и истории. Ему было отведено свое место, и тем ярче выступило противоречие между народом, создавшим историю, и крепостной бесправной массой, в которую превратился тот же народ, о чем совсем забыл Карамзин.

Одна эта книга могла бы обессмертить имя Полевого, а если прибавить к ней его заслуги как издателя “Московского телеграфа”, как предшественника Лермонтова, то, право, становится грустно, что у нас нет даже его приличной биографии и только десяток статей, разбросанных в журналах, да давно затерявшийся памятник на Волковом кладбище – вот и все, что осталось от сильного бойца и когда-то передового общественного деятеля...

Правда, впоследствии Полевой сам себя опроверг и бросил на свое имя очень темную тень. Случилось это после неожиданного запрещения “Московского телеграфа”, когда его издатель остался без всяких средств к жизни и в довершение всего получил строгое внушение. Человек умалился. Теперь если уж надо о чем рассказывать, то не о прежней почти героической борьбе с самодовольством и обскурантизмом, а о писании только патриотических произведений, о сотрудничестве с Булгариным, об откровенном благоговении и заискивании перед силой жизни. Полевой делал все что мог, чтобы забыли его же самого и первую половину его деятельности. Однако он не достиг этого.

Посмотрите, какая глубокая ирония и вместе с тем какая глубокая истина скрывается в словах Белинского, случайно брошенных им в одной из библиографических заметок: “*Не тот* г-н Полевой, который недодал шести книжек “Русского вестника”, *не тот*, который выкраивает из чего попало плохие драмы, создает комедии вроде “Войны Федосьи Сидоровны с китайцами” и воспекает “деньги”, *но тот*, который издавал “Московский телеграф”, ссорился с другом и недругом за свои убеждения, порицал направление драм гг. Шаховского и Кукольника и не воспевал денег”.

Все это как нельзя более правда; но чем больше задумываемся мы над судьбой Полевого, тем настойчивее выступает перед нами вопрос: “Что же такое с ним случилось?” Панаев говорит: “Испугался”. Другие ссылаются на обременение многочисленным семейством...

Было и то и другое. Но нетрудно, кажется, вообразить себе иную обстановку, в которой с такими людьми, как Полевой, никакого зла не случилось бы, в которой не пришлось бы ему ни холопствовать, ни лицемерить, не пришлось бы отрекаться от себя и восхвалять романы частного пристава только потому, что тому дана власть вязать и развязывать. Можно ли рассуждать с точки зрения этой, не идеальной даже, но все же лучшей, обстановки? Нам думается, что – да. Ведь общество существует совсем не для героев, а общественная жизнь – не для героических поступков. Героев так мало, что из-за них бы не стоило хлопотать. Большинство смертных – весьма и весьма дюжинные люди. умных, неглупых по крайней мере, между ними достаточно; но те, кто одарен исключительной силой воли, могучей верой, способностью приносить в жертву идеалу свое тщеславное, вечно алчущее “я”, встречаются крайне редко. Герой в любой обстановке – кроме, может быть, самой исключительной – не затеряется, но общественная жизнь должна быть приспособлена к людям средней воли и их-то достоинство она и должна оберегать. А если она не делает этого, если она это человеческое

достоинство втаптывает в грязь, если она возводит в принцип неуважение к человеку, в систему – преследование его, то кто же виноват? Неужели слабый человек средней руки, обремененный многочисленным семейством?...

Чувство собственного достоинства – удивительный и лучший дар природы человеку, вернее – это чувство приобретено им ценою величайших усилий и неисчислимых страданий. Поэтому-то оно так привлекательно, поэтому-то оно и есть лучшее, что находится в нашем распоряжении. Хотите знать, какой приговор следует вынести той или другой эпохе, тем или другим историческим условиям, – спросите себя: а как люди, жившие в эту эпоху, в этих исторических условиях, относились к чувству человеческого достоинства? Уважали ли они его, ценили ли его или – наоборот – третировали, презирали, всяческими способами преследовали? Мне думается, что трудно, обладая такого рода критерием, сделать серьезную ошибку. Аристотель всю свою теорию нравственности построил на сознании человеком собственного достоинства. Великая и славная мысль, вникая в которую мы невольно переносимся в обстановку греческой жизни с ее привольной атмосферой, в которой так свободно дышалось людям. Почему человек добродетелен? Потому ли, что он боится кого– или чего-нибудь, потому ли, что он ищет награды, потому ли, наконец, что ему так приказано? Нет, проще, гораздо проще: он добродетелен, потому что уважает самого себя.

Тридцатые же и сороковые годы нашего века к подобной этике приспособлены не были, а наоборот, как бы задались специальной целью доказать, что чувства собственного достоинства у человека нет, да и быть не может. На Полевом они проявили все свое могущество – и он сломлен. Конечно, никто не мешает нам обвинять его: “жестокые” слова и так уже не раз градом сыпались по его адресу. Но будет ли *правда* в этих “жестоких” словах? Если и будет, то не полная. Не знаю, как другие, но я, вчитываясь в письма Полевого, относящиеся к последней эпохе его деятельности, чувствовал одну лишь жалость и сострадание к этому когда-то сильному человеку. Долги, заботы о семействе, о насущном куске хлеба, тревожные думы о подневольной работе, постоянное насильственное напряжение сил – вот темы этих писем. Перед нами слабый, несчастный, подъяремный человек, боязливо оглядывающийся, боязливо протягивающий руку.

Всякий, думается нам, знает, что в николаевскую эпоху господствовала “система”. Это система ясная, точная, такая, которая еще и теперь поражает нас своим грандиозным размахом. Эта система являлась как бы живым воплощением могучей и непреклонной личности самого императора

Николая I. Идея, которая проникала собой всю систему и, как мозг, наполняла кости ее, была идеей внешнего могущества и силы России, с одной стороны, безусловного единства ее духовной жизни, с другой. Относительно внешнего могущества будем кратки: его не только добивались, им пользовались. Познакомившись хотя бы немного с историей дипломатических сношений периода правления Николая I, вы прежде всего замечаете, что в продолжение долгого ряда лет в европейском концерте Россия держала первую скрипку. Император был настоящим вершителем европейских судеб, его приказаниям волей-неволей должны были подчиняться за границей. В дела других европейских государств он вмешивался властно и требовательно, его голос раздавался как голос власти, как голос силу и право имеющего, главное – силу. Стоит припомнить классическую угрозу Николая I отправить в Париж миллион “слушателей”, то есть солдат, в случае, если будет допущена к представлению не понравившаяся ему пьеса. Участие России в венгерском восстании – другая иллюстрация того же самого. Венгерцы восстали потому, что у них были с австрийцами свои собственные счета; но так как император Николай I возложил на себя трудную миссию сохранения европейского мира и считал безусловным своим долгом заботиться о прочности всех европейских престолов и поддерживать династическую идею везде и всюду, то России пришлось вмешаться и в венгерское восстание ради его успокоения. Русский колосс в эту удивительную эпоху расправил свои могучие члены и явился в полном блеске величия и власти. Но очевидно, чтобы пользоваться в Европе такой первенствующей ролью, ему пришлось задействовать все свои силы, которые только были, пришлось выносить невероятное напряжение, пришлось идее внешнего могущества подчинить все остальное и принести ей в жертву лучшие дарования и лучшие способности.

Одним из необходимейших условий внешнего могущества, по мнению императора Николая, являлось полное, безусловное, не терпящее никаких, даже самонаименованных, уклонений духовное единство всех русских людей, начиная с первого вельможи и кончая последним мужичонкой. Система николаевской эпохи стремилась подчинить себе все мысли и чувства пятидесятиmillionного населения. Это была поистине грандиозная попытка. Все усилия правительства в области внутренней политики сводились к установлению дисциплины, идеалом которой была дисциплина военная. Каждому было указано свое строго определенное место; от каждого требовалось, чтобы он говорил, думал и чувствовал именно так, как предписано. Один должен был чувствовать побольше, другой

поменьше; одному полагалось знать то, чего не полагалось знать другому; в мыслях одного могло быть больше развязности и бойкости, чем в мыслях другого; третьему совсем не полагалось иметь мыслей. Все это было строго предусмотрено системой, все это с математической точностью соответствовало положению человека здесь, на земле.

Каково приходилось в этой обстановке интеллигентной мысли – сообразить нетрудно. Интеллигентная мысль менее всего подходила под требования системы. Ведь вся привлекательность умственной или творческой деятельности в том и заключается, что в ней человек выявляет свою особенность и индивидуальность. Если нет такой возможности, если нет свободы, позволяющей проявить самого себя, то не все ли равно, что икону писать, что утапывать мостовую? Но какое дело системе до особенности и индивидуальности? Крупных людей, как, например, Пушкин, она старалась привлечь на свою сторону. С мелкими она совершенно не церемонилась.

Несмотря, однако, на эти неприятности и стеснение, несмотря на то, что существование и литературы, и журналистики только терпелось, но не признавалось, обе они в процессе естественной эволюции пережили за это время очень важный момент своего бытия. Совершилось это втихомолку, незаметно, но все же совершилось и как факт может быть упомянуто в нашем предисловии. Не говорим уже о том, что литература, по словам Белинского, стала общественной силой, то есть сблизилась с жизнью, с ее практическими стремлениями и задачами, о чем упоминалось нами выше. Пользуясь случаем, указываем на другое обстоятельство: в литературе появился разночинец, и из занятия случайного она стала делом, таким же *настоящим* делом, как учительство, чиновничанье и пр.

Об этом стоит сказать несколько слов.

В это время установился обычай платить за статьи гонорар. Уже Полевой, издавая “Московский телеграф”, частенько делал это, и после него плата писателю-журналисту стала как бы правилом. Платили редакторы, издатели, то есть лица, прямо и непосредственно связанные с литературой, и прежний гонорар в виде табакерок, милостивых улыбок, всевозможных подачек со стороны меценатов и меценаток стал мало-помалу отходить в область предания, откуда можно пожелать ему никогда не возвращаться. Благодаря этому оказалось возможным избирать писательство карьерой и исключительно отдаваться ему. Таким образом, оно возвысилось до степени дела. Раньше же им занимались между прочим. Дилетанты и любители создавали повести, романы, критические статьи, поэмы, печатали их ради славы и во имя собственного тщеславия,



услаждались похвалами, возмущались нападками, но делом их жизни была не литература, а полк, департамент и так далее. Оттого позволять себе такую роскошь, как писательство, могли лишь люди обеспеченные, обладавшие родовым или благоприобретенным. Но писательство как карьера, литературная работа как дело всей жизни были немыслимы для разночинца, не имевшего ни родового, ни благоприобретенного, пока гонорар не стал обычаем и даже правилом. Эта полистная и постатейная плата является для историка как бы символом того, что кончился наконец аристократический период в литературе и вместо него наступил другой, уже ни в коем случае не аристократический.

Разночинец обосновался в литературе. Журналистика открыла для его сил такое поприще, о котором раньше он не мог мечтать и во сне. Литературные нравы покровительствовали ему. Никто не спрашивал о его происхождении, о чине и звании его родителей; так или иначе, но ценили его по делам. Дух времени, правда, был против такой оценки, но литература выступила на свою самостоятельную дорогу и держалась своей собственной линии. В обществе, где протекция, родство, связи, портреты предков и пр. играли такую важную роль, вдруг появился уголок с другими нравами и другими взглядами. Этот уголок был – литература. Звание генеральского сына или внука – увы! – не ценилось там нисколько. Талант, личная заслуга, непосредственная способность влияния на другого – вот что значило, вот что стояло на первом плане. И разночинцу (хотя и не всегда) открывалась возможность вздохнуть свободно.

Войдя в литературу, разночинец внес в нее и особенные взгляды. Он явился с чердака, с антресолей, из подвалов, явился бледный и исхудалый, знакомый с голодом, помятый жизнью. Он знал эту жизнь, знал ее по опыту, на собственной шкуре – и прежнее созерцательное, оптимистическое отношение к бытию было не по вкусу ему. Он хотел дела; сын страдания, так или иначе он решился бороться с ним. И борьба началась.

## ГЛАВА II

*Почему так хорошо забыт Сенковский? – Характеристика его как личности и писателя. – Детство и воспитание. – Поездка на Восток. – Литературная деятельность до открытия “Библиотеки для чтения”*

Полагаем, что ничто так хорошо не забыто, как прошлое журналистики и журналистов. И понятно, почему это так. Среди общественных деятелей журналиста забыть особенно легко. Это несомненная, хотя и грустная истина. Что остается после него? Груда исписанных бумаг, почти непонятных через 20–30 лет после его смерти. Давно забытые имена, давно переставшие не только волновать, но даже интересовать нас события, намеки на современные явления и обстоятельства, в которых мы не можем разобраться без скучных комментариев, – вот наследие журнальной работы. Надо быть или философом, или поэтом, чтобы новое поколение могло интересоваться тобою; большинство журналистов служит своей эпохе и умирает вместе с нею. Они волновались, негодовали, любили, спорили, ссорились, но какое дело до всего этого нам? Пятьдесят лет успели создать новые имена и новые интересы, за пятьдесят лет все прежнее отчасти исчезло, отчасти забыто. Нам трудно даже на минуту перенестись в прошлую жизнь; вместо людей с мускулами и кровью перед нами бродят бледные тени; вместо яркой картины перед нами слабо проведенные штрихи. Истины, когда-то великие и новые, кажутся нам азбучными; события, возбуждавшие прежде такой страх или такие восторги, не производят на нас ни малейшего впечатления. Если мы интересуемся прошлым, то разве лишь тем, что в нем есть общего, выдающегося, а злоба тех дней – не злоба для нас. Понятно, что если журналисту, который не был одновременно поэтом, как Белинский, или философом, как Писарев, Михайловский и так далее, приходится оглянуться на свою прошлую деятельность, то он не может не почувствовать тоски и угнетения. Он чувствует, как скоро он будет забыт, как скоро исчезнут последние следы совершенной им громадной работы. Кому надо, кому охота копаться в старых журналах, кто простит и поймет эту торопливую, лихорадочную деятельность, кто заинтересуется давно минувшей злобой дня? А между тем все это когда-то волновало и мучило, все это заставляло судорожно хвататься за перо, опровергать и доказывать, бороться и надеяться... Тогда нельзя было не торопиться, тогда некогда было раздумывать над отделкой формы, над тем, чтобы придать своему

произведению более строгий и обработанный вид. Надо спешить. Жизнь не ждет, ежедневно выдвигает она на сцену новые вопросы, и обязанность журналиста – ответить на них.

“Я принялся, – писал Сенковский Ахматовой, – перебирать в своей памяти все, что написал до сих пор, и вижу, что решительно не сделал ничего хорошего, что могло бы остаться после меня, что было бы соразмерно с тем громадным трудом, который я наложил на себя с ранней юности, чтобы подготовиться работать хорошо и быть полезным. Я так дурно распорядился моею жизнью, моими способностями; я вступил на такой путь, который принудил меня насильно тратить все это для других, всем жертвовать для других, – глупо, потому что я получил за это только неблагодарность и клевету и ничего не сделал для самого себя, для прочности своей собственной славы, для моих материальных интересов, наконец потому, что и материальные интересы имеют также свою цену, когда приближаешься к старости. Что останется после моей смерти? – множество работ, разбросанных, едва начатых, неконченных, которые я всегда предпринимал с намерением связать их вместе, усовершенствовать, придать им большее развитие, сделать из них произведения прочные и замечательные; и всегда, предаваясь сумасбродно несчастной трате моих идей и способностей на пользу других, я оставлял их неконченными и забытыми по недостатку времени и вследствие того усложнения занятий, в которое я вдавался необдуманно и из которого мне теперь трудно выбраться, несмотря на все мои усилия достигнуть этого, чтобы отдаться самому себе и работать над тем, что должно пережить меня. Успех, который имели все эти наброски, все эти пустяки, более или менее блестящие, несколько не ослепляет меня; я знаю лучше, чем кто бы то ни было, что они не имеют настоящего достоинства, и высокое понятие, какое они дали публике о моих способностях, – тяжесть, подавляющая меня, потому что я боюсь, вижу, что смерть настигнет меня прежде, чем я сделаюсь свободен, чтобы доказать моим согражданам, что я действительно стоил того уважения, которое они отдали мне сразу, и что они не обманулись в моих способностях. Признайтесь, что для человека, умеющего чувствовать сильно, для человека с сердцем, для того, кто не лишен благородного честолюбия, мысль обмануть все ожидания, и обмануть по своей собственной вине, не может не быть убийственной. Вы понимаете теперь причину этой жестокой грусти, которая овладевает мной время от времени, и этого желанья, я скажу даже – этой любви к преждевременной смерти, которая заставила бы меня исчезнуть, не уничтожив всего престижа. Если я не успею выйти из моего несчастного

положения и найти время, чтобы кончить мои сочинения, чтобы показать свои истинные дарования, я дам одержать надо мною верх моим врагам, всем тем, кто теперь унижает мое дарование из зависти.

Уже и то унизительно думать, что такая сволочь может когда-нибудь одержать надо мною верх благодаря моей непредусмотрительности. Говорили, что у меня есть только ожесточенные враги или фанатические друзья; если это так, я насмехаюсь над моими врагами, я доказываю им каждый день, что насмехаюсь над ними и не боюсь их; но я чувствую в то же время, и очень сильно, что имею большие обязательства к тем, кто удостаивает меня своим дружеским фанатизмом, и что я прежде всего должен оправдать их лестное пристрастие произведениями, достойными их и меня.

Вы не можете поверить, какие жертвы я приношу, чтобы заслужить уважение моих друзей, и до сих пор ничто не удается мне; в начале каждого года я говорю себе: наконец я свободен, почти свободен, и могу спокойно заняться моими собственными произведениями! Тщетная надежда: малопомалу все работы сваливаются на меня, — и в конце года жертва принесена, а тяжесть моих занятий не уменьшилась ни на волос.

Нынешний год я принес еще большие жертвы и уже вижу, что без меня дело не идет и что все мое время будет истрачено на помощь другим, а помогать — просто значит делать все самому! Вы мне скажете: может быть! но эти сто толстых томов “Библиотеки для чтения” — уже довольно хорошие права на славу; вы рассыпали там множество новых идей о множестве предметов; они произвели не один умственный переворот в нашей стране; они дали не один спасительный толчок. Положим, что это правда, потому что это было сказано и повторено сто раз моими друзьями и даже моими врагами: но что такое “Библиотека для чтения”? Это вещь эфемерная; в продаже не осталось даже ни одного экземпляра из этих ста томов; все было прочитано, изорвано, потеряно, этого не перепечатают никогда, и память о моих громадных трудах, обо всех этих толчках, обо всех этих умственных переворотах изгладится очень скоро: обо мне останется только одно смутное предание.

Лет через десять вы сами забудете все, что там находилось, и, может быть, спросите себя с удивлением: но что же такое сделал этот человек, внушивший мне когда-то столько уважения и дружбы? Достигнуть такого результата после стольких трудов — об этом страшно подумать! Ваше благородное сердце сумеет понять грусть, меланхолию, уныние, часто овладевающие мною от этого”.

В общем характеристику, данную Сенковским самому себе, мы

считаем совершенно справедливой. Но очень может быть, что многие найдут ее преувеличенной и воспримут как комплимент в меланхолической рамке. Пока не место разбираться в этом: нам ниже придется достаточно говорить и о “Библиотеке для чтения”, и о ее заслугах перед русской мыслью и русским просвещением. Заметим только, что никакого желания превозносить Сенковского у нас нет, что мы совершенно ясно видим его недостатки и уж ни в коем случае не желаем ставить его рядом с Белинским. Но странно было бы забывать имя Сенковского в издании, посвященном замечательным людям. Велик он не был, но в его “замечательности” сомневаться никак невозможно. Пускай называют успех “Библиотеки для чтения” эфемерным, ее издателя – гаером, клоуном и пр., – это не важно. Важно другое: в тридцатых годах “Библиотека для чтения” была единственным журналом, который читали, Сенковский – единственным критиком, которого слушали. Вычеркните его деятельность, – и у нас нет журналистики тридцатых годов. Маленькая, скромная журналистика – согласны, но другой в то время и быть не могло. Маленькая и скромная, но она благодаря своим достоинствам или недостаткам – это увидим ниже, будила мысль дремавшей российской публики, она первая проникла в провинцию, первая встряхнула ее. Она приучила наше общество к журналу, сделала его необходимым для интеллигентной семьи, создала, наконец, новый тип журнала.

Для величия этого мало, для “замечательности” – более чем достаточно.

\*

Я считаю необходимым на немногих страницах напомнить читателю образ Сенковского.

Профессор университета и блестящий лектор, знаток восточной литературы и Востока вообще, ученый, прекрасно владевший языками персидским, арабским, турецким, коптским, французским, английским, немецким, русским, польским, итальянским и испанским, свободно писавший на пяти языках, одновременно талантливый публицист, критик, автор бесчисленных повестей, единственный редактор и почти единственный сотрудник самого распространенного когда-то журнала: таков Осип Иванович Сенковский с внешней стороны своей деятельности. Громадная память, блестящий ум и не менее блестящая фантазия, невероятное трудолюбие, разносторонний талант и энциклопедическое

образование делали его самым заметным и влиятельным человеком среди русских журналистов.

Прочтите любую страницу из произведений Сенковского, все равно откуда выхваченную, – из его повестей или фантастических рассказов, из его критики или литературной летописи, из его фельетонов или ученых трактатов: вам сейчас же бросится в глаза резко очерченная индивидуальность автора. После самого незначительного опыта бесчисленные псевдонимы Сенковского не будут затруднять вас. Как бы он ни подписывался – барон Брамбеус, Тютюнджю-Оглу, Т.-О., О.О.О., Cel, Б.Б., Осип Морозов, Белкин, Снегин и пр. и пр., – вы его сейчас же узнаете, как узнавала его некогда публика тридцатых годов. У Сенковского не только резко очерченная индивидуальность, но индивидуальность утрированная, утрированная произвольно самим Сенковским. Там, где вы увидите блестящее и общедоступное изложение самых трудных вопросов лингвистики или политической экономии, или даже медицины, внезапно прерванное веселой шуткой или иронической фразой, в которой автор подсмеивается и над предметом, и над самим собой; там, где после одушевленных красивых строк вы натолкнетесь на другие, в которых дается полный простор скептицизму, готовому усомниться в сделанных выводах, в усилиях ученых, в эрудиции автора и даже в себе самом; там, где шутка зачастую переходит в буфф, полный утрировки, где читателю нельзя подчас разобраться, серьезно ли говорят ему или шутят, где ни на минуту не исчезает насмешливая улыбка автора, где все так искусственно, где все так тревожит и тормозит ваш ум и так мало действует на сердце, волю, – там вы угадаете руку Сенковского.

Громадная ученость, острый ум, блестящая, но не симпатичная фантазия – вот что прежде всего бросается в глаза в произведениях Сенковского. О чем бы он ни говорил с вами: о Востоке, о фонетике, о политической экономии, о хирургии, о музыке, о Лермонтове, о железных дорогах, о капитале, – он сумеет вас заинтересовать. Удивление прежде всего овладеет вами: какова бы ни была тема, речь Сенковского всегда свободна и самостоятельна, он видимо владеет темой во всех ее изгибах и подробностях. Он поражает вас ловким подбором фактов, цифр, неожиданными сопоставлениями, быстрыми переходами и даже скачками от одного предмета к другому. Он заставит вас понять дело, как бы ни было лениво ваше мышление, он растормошит вашу фантазию во что бы то ни стало. Ни перед какими средствами и затруднениями он не остановится. Без всякой скуки будет толковать он вам на целых страницах азбучные истины, пересыпая свои объяснения веселыми шутками и бойкими

остротами, десять раз вернется к тому же предмету, разжует его и поможет даже проглотить. Но в то же время ему ничего не стоит в последних строках оставить читателя под впечатлением, что все сказанное, быть может, и не истина, что все говорилось ради шутки и веселого времяпрепровождения.

Не останавливайтесь на первых страницах, не поддавайтесь очарованию безусловно умного человека, у которого весь организм, кажется, пропитан умом, – идите дальше. Идите дальше – и вами скоро начнет овладевать утомление. Ваш ум удовлетворен стройной логикой, смелыми парадоксами, интересом аргументации, ваше воображение “приятно провело время”, следя за прихотливой фантазией автора, за ее изысканными арабесками, но ваше чувство, ваша воля как будто остались незатронутыми. Сенковский объяснит вам все что угодно; но где тот предмет, который бы он заставил полюбить, где та цель, ради которой весь этот шум и блеск? Ваша воля осталась ненапряженной, нет слез негодования, нет любовного волнения сердца. Вызванные чтением работа ума и игра фантазии не в силах компенсировать скрывающейся за строчками пустоты и холодности чувств.

Задача художника, актера, вообще артиста как служителя искусства – “разогреть предмет”. Мне простят это неудачное, но лучшее по краткости выражение “разогреть”. Впрочем, можно сказать и иначе: “Задача искусства – представить вам предмет или всю совокупность предметов с выгодной для них стороны”, то есть затронуть любовь и ненависть вашего сердца, повлиять на вашу волю. Этого не было у Сенковского.

Сравните его с Белинским. По всей вероятности, несомненно даже, он был в десять раз образованнее последнего, если не более того. Но Белинский умел *угадывать*, тогда как Сенковский только понимал; Белинский носил в своей груди благородное, смелое сердце, в нем таились все муки и надежды современности, он умел возбуждать и воспитывал наши стремления; как истинный художник он вызывал наши восторги и наши негодования; как человек, наделенный творческой силой, он был всегда самостоятелен. А главное, статьи Белинского – сама жизнь измученной, но не потерявшей героической веры души, поэма, созданная верой в грядущее счастье, мукой и страданиями эпохи. Сенковский умен, умен, как Мефистофель, но как часто оставляет он нас при одном бесцельном, бессодержательном смехе!.. Белинский – боец, Сенковский – наблюдатель.

Есть умное изречение, которое гласит: “Жизнь представляется трагедией тому, кто смотрит на нее с точки зрения чувства, и комедией

тому, кто стремится только понять ее”. Вся жизнь для Сенковского была комедией, часто водевилем, иногда скверным анекдотом. Он не любил касаться высоких страстей, героических порывов, не верил даже в мрачные силы человеческой природы. Редко возвышался он до взгляда на жизнь как на таинственную драму, разыгрывающуюся на нашей маленькой сцене – Земле, он предпочитал видеть в ней интересную комбинацию довольно-таки бессмысленных случайностей. Величие не поражало его, зло не пугало. В первом он находил всегда яркие следы эгоизма, во втором – тот же эгоизм в форме мелких страстей, если угодно – мошенничества, тщеславия, подлобострастия.

Строго говоря, он ни во что не верил, ничего не хотел, ни к чему не стремился.

Что такое люди? В ответ на это Сенковский еще в молодые годы написал фантастическую басню. Она характерна. В общих чертах вот ее содержание: “Шел факир. Это было в Индии, где факиров такое же множество, как у нас титулярных советников. Как вдруг он очутился на краю темной и глубокой ямы, прикрытой сухим хворостом и соломой. Это была волчья яма, куда по неосторожности упали обезьяна, змея удав, тигр и человек. В три приема факир вытащил зверей и готовился уже в четвертый раз опустить пояс в яму. В эту минуту обезьяна, змей, тигр – все трое вдруг закричали ему по-санскритски: “Стой, что ты делаешь? Оставь его там! Не вытаскивай человека из ямы. Сгинь он в ней, пропади!” “Почему же так?” – спросил изумленный факир. “Как почему? – воскликнула обезьяна. – Неужто не знаешь ты своего рода? Человек! Да это глупейшее, хитрейшее, вероломнейшее животное во всей природе. Он презирает обезьян. А сам что он делает? Всю жизнь проводит в обезьянстве. Он даже издает сам для себя еженедельные журналы обезьянства с раскрашенными рисунками и еженедельно переделывает всю свою наружность по этим рисункам, всякий раз хуже, всякий раз страннее, смешнее и гаже. Я хоть и обезьянничаю, хоть и кривляюсь, по крайней мере делаю это для собственной моей потехи, когда мне весело; он, напротив того, прибегает к этому средству единственно для того, чтоб обмануть других на свой счет, чтоб ослепить их, чтоб их поддеть, надуть, обобрать... Фуй! Как тебе не стыдно быть человеком! Поди лучше жить с нами, с честными, природными обезьянами, в лесу, в бору, в пустом поле: я уверена, что ты будешь нас любить и почитать, у нас не найдешь ты ни измены, ни преступлений, ни пороков. Да какой у нас прекрасный пол! Как он обезьянничает просто, натурально, неподдельно: уж право не так, как ваши женщины, которые всеми силами стараются подражать обезьянам, да не умеют!.. Говорю тебе, не вытаскивай



его из этой ямы: придет время, что будешь в том раскаиваться!..” – “Обезьяна судит весьма правильно, – промолвил змей, приподнимая голову. – Несравненно лучше иметь дело с обезьянами и змеями, чем с вашей братией, честный факир. Я уж не стану говорить про обезьян; хотя человек и очень похож на них лицом и телом, но это не должно делать им никакого бесчестия: они поистине добрые, кроткие и шутливые твари, – а скажу лишь несколько слов о нашей породе... Змей употребляет жало только для своей защиты, он не наступает, не нападает ни на кого; а человек?... О, любезный факир! Ни в каком болоте, ни в какой пещере в свете нет змеи, ехидны, дракона, наделенных от природы сердцем столь злобным, жалом столь ядовитым, как сердце и язык человеческие. Человек жалит и убивает собственных своих ближних, невинных и беззащитных, в шутку, для потехи, в удовлетворение своему тщеславию, из подобострастия, даже из предполагаемого угождения другому человеку, коим хочет он воспользоваться только при случае; он смеется и жалит, заключает в объятия любви, дружбы, гостеприимства – и жалит до смерти. Злоба – его стихия, хитрость – его ремесло, орудие, следствие его природы. И он еще порицает нас, бедных безногих!.. Советую тебе, оставь человека в яме, если не желаешь испытать его неблагодарности. Ведь вы сами сознаетесь, что мы умнее вас!.. Вы же мудрость изображаете в образе змеи!..”

Между факиром и зверями произошел спор об относительном достоинстве человека. Услышав речь факира о человеческом уме, животные расхохотались. Факир был приведен этим смехом в смущение и остоленел. “Как, – воскликнул он, – вы не верите, что у человека есть ум? Человек делает луки, стрелы, ружья, часы, подзорные трубы, считает звезды и печатает газеты...” – “Ха-ха-ха!..” – “Человек философствует, то есть рассуждает о таких вещах, которых никто, и даже он сам, не понимает...” – “Ха-ха-ха-ха!..” – “Сделайте же вы то, что делает человек!..” – “К чему, – сказали звери, – нам считать звезды, печатать газеты и углубляться в философские, то есть, как ты сам говоришь, недоступные для ума предметы, когда мы и без того находим для себя пищу. То, что вы называете вашим умом, есть не что иное, как хитрость: изысканная, ужасная, адская хитрость, высочайшая степень хитрости, при помощи которой добываете вы себе пропитание. Все ваши выдумки имеют целью или то, чтобы набить себе желудок живностью, которую похищаете вы наперерыв один у другого, надувая себя взаимно новостью или искусностью ваших затей, или желание погубить другого из зависти, вражды и предрассудка. Если обладаете вы хоть одной частицею всеобъемлющей предвечной мудрости, которая управляет природою, сохраняет и развивает ее, то скажите нам, что

хорошего выдумали вы или сделали на пользу природы, которой составляете важную и нераздельную часть?” – “Вы это говорите из зависти, – отвечал факир. – Не хочу вас слушать...” – и, бросив свой пояс золотых дел мастеру, он вытащил его из ямы.

Спасенный человек кинулся от радости душевно обнимать своего спасителя: он целовал у него руки, кончик бороды, целовал край платья. Он называл его своим благодетелем, кормильцем, отцом, султаном; он плакал от восторга, пал перед ним на колени и хотел поцеловать у него ногу... Прошло несколько лет... и утомленный путешествием, истощенный голодом, тот же добрый факир медленно тащился с огромным посохом в руке по дороге. Он просил у встречных подаяния; никто не давал ему, и все отворачивались от него с презрением. Факир вздохнул и залился горькими слезами.

Вдруг обезьяна прыгнула с дерева прямо на плечо к нему и начала обнимать его и лизать: “Не узнаешь меня?... Я Мога-Уда, которой ты спас жизнь третьего лета”.

Обезьяна принесла факиру плодов; змей стащил для него из кладовой сыру и кувшин молока; тигр, желая отплатить за оказанную услугу, задушил дочь местного султана, сорвал с нее богатые ожерелья, запястья и отдал все факиру.

Тот, нагруженный дарами благодарных животных, вошел в город и направился прямо в дом когда-то спасенного им золотых дел мастера.

– Любезный друг, – сказал он ему, – ты обещал мне поделиться со мною твоим имением...

– Да, – прервал золотых дел мастер его со смущением, – я обещал... Но... знаете, любезный друг, так только говорится, особенно когда человек растроган...

– Не в том дело, – отвечал факир, – я не хочу твоего имения, а только прошу сделать дружеское одолжение. Вот дорогие вещи, цены которых я не знаю. Скажи, чего они стоят, и постарайся продать их выгодно для меня.

При этих словах факир вынул из кармана ожерелья и запястья и передал их золотых дел мастеру. Тот узнал их сразу, потому что сам их делал для дочери султана, но он нисколько не дал заметить это своему спасителю. Напротив, он сказал ему: “Я продам их как свои собственные. Ты – мой благодетель; я тебе обязан жизнью. Позволь только удалиться с ними на короткое время. Пойду к соседу взвесить эти камни”. Факир охотно согласился на это предложение. Золотых же дел мастер прямо с вещами побежал во дворец и просил доложить султану, что он поймал убийцу стыдливейшей государыни, его дочери, в доказательство чего и

представляет похищенные у нее драгоценности.

На другой день добрый факир лежал обезглавленный на куче навоза, а золотых дел мастер гордо расхаживал по городу с орденом старого башмака на спине.

Обезьяна, змей и тигр, узнав о несчастье своего спасителя, заплакали и сказали: “Теперь он узнал, что такое люди!..”

Приведенный рассказ – прелестно написанная вещь, представляющая собой подражание восточным повествованиям. Но в ней Сенковский целиком выявил свою точку зрения, выявил очень резко и с такой откровенностью, до которой он возвышался не особенно часто.

Оттого-то мы и не поскупились на место, полагая, что даже в нашем сокращенном изложении рассказ прочтется не без интереса.

Остановимся на его точке зрения.

Это почти свифтовская точка зрения, хотя и без свифтовской силы. В других произведениях Сенковский выводил еще более ничтожные страсти, еще глубже проникал в человеческую пошлость и ничтожество. В отношении его к людям, особенно к русским людям и к русской публике, заметно барское, аристократическое презрение, иногда даже дерзость. Это презрение умного, образованного и гордого человека, несомненно исполненного чувством собственного достоинства, к темной, копошащейся у его ног массе пошлого люда, все мелкие страсти, надоедливые похоти, детские капризы, наивное тщеславие, грубую жестокость которого он видит слишком ясно. Ненавидеть это ничтожество нечего, тем менее следует плакать о нем; самое законное отношение к нему – отношение сатирическое.

И конечно, Сенковский был сатириком. Своим взглядом на людей он больше всего напоминает Свифта, но у него нет титанической силы презрения, которая характеризует великого ирландца. Сенковский никогда не доходил до той глубины отрицания, до той мощи ненависти, которая помогла Свифту создать образ Ягу и заставила его предпочесть лошадей людям. Сенковский сатирик потому, что он слишком ясно понимал своих современников, но у него не достало художественной мощи, чтобы воплотить свои богатые наблюдения в вечные типы.

Нам уже не раз приходилось указывать на отличительную черту характера Сенковского – его ум. И повторяем, это был не просто умный человек, каких довольно много, это был умный человек прежде всего. Острая и холодная наблюдательность, ясный и прямолинейный взгляд на жизнь, скептицизм, не покидающий его ни на минуту даже во время увлечения, насмешка, заканчивающаяся восторженную тираду, – все это как

нельзя более естественно и необходимо для человека, у которого рассудок работает так энергично, что не дает простора ни сердцу, ни воле. Вглядываясь в окружающее удивительно ясным, понимающим взглядом, Сенковский чувствовал к нему невольное презрение. Пошлость, ничтожество, подхалимство бросались ему в глаза прежде всего. Он так же легко, как в раскрытой книге, читал в душах маленьких людей, всех этих Булгариных, Гречей и пр., которые копошились около него со своими крошечными страстями, несоразмерным тщеславием и хамскими наклонностями. Их-то он понимал и видел насквозь, и в этом случае ему никак нельзя отказать в большой проницательности. Но зато он как будто не замечал того великого, что таилось в окружающей его жизни и что нет-нет да и прорывалось наружу – и даже не случайными взрывами, а серьезными течениями мысли. Сенковскому было дано постигнуть всю отрицательную сторону своей эпохи, добраться до самых сокровенных источников и проявлений душевного ничтожества, но у него не хватило чутья, если угодно, проникновения, чтобы понять, какие великие силы таились вокруг него, какие славные мысли зрели в стороне от того скверного болота, в котором безнадежно погрязло большинство современников. Очевидно, что Сенковский мог презирать их, как презирал своих журнальных врагов: он ни на минуту не сомневался – да и мог ли сомневаться? – что причина злобы, возбуждаемой им, причина насмешек, клевет, доносов – все это личность и личность. Но, оценив по достоинству Булгарина и ему подобных, Сенковский никогда не мог возвыситься до понимания такого врага, как Белинский: точка зрения последнего была ему очевидно не по плечу. Лишь изредка Сенковский давал простор таившимся у него глубоко-глубоко в душе “романтическим чувствам”. Тогда он писал такие вещи, как “Любовь и смерть”, или вел переписку с Ахматовой. Это были редкие минуты, когда умный, постоянно насмешливо и скептически настроенный человек находил у себя в сердце порывы в какую-то неясную и таинственную область, где скрывается загадка жизни. Но о них еще наша речь впереди...

\*

При изложении личной жизни Сенковского мы постараемся не вдаваться в подробности. Они кажутся нам излишними. Характер Сенковского, хотя и очень любопытный, не представляет, однако, трудностей для понимания. Развитие этого характера также не особенно

интересно, так как он определился почти сразу, без потуг и внутренней борьбы. Центр нашей задачи – дать характеристику Сенковского как русского журналиста, и нам придется только мимоходом коснуться его ученой и профессорской деятельности. Сто томов “Библиотеки для чтения” – вот что мы постоянно будем иметь в виду, и если мы не представим читателю *полной* биографии барона Брамбеуса между прочим и потому, что для этого нет необходимых материалов, то взамен постараемся дать главу из истории русской журналистики тридцатых годов, когда Сенковскому как журналисту действительно пришлось играть первую роль. Поэтому в описании его детства и юности будем по возможности кратки.

Оставим в покое отдаленных предков Сенковского. Многие из них были в свое время известными писателями, воинами, дипломатами, не завещавшими, однако, после себя ничего вечного. Все они были чистокровные поляки, гордившиеся своим шляхетством. Дед Осипа Ивановича, волковыский староста, находился в дружественных отношениях с королем Станиславом Понятовским и в царствование Екатерины сопровождал его в Петербург. Отец воспитан был в привычках роскоши и мотовства – привычках, которые явились как бы наследственными у его сына. Сам Сенковский никогда об отце не вспоминал, но, сопоставляя дошедшие до нас скудные данные, мы можем восстановить образ блестящего шляхтича, в несколько лет промотавшего свое немаленькое состояние, свое здоровье и даже репутацию. После немногих лет бесшабашной жизни у отца Сенковского осталось только родовое поместье его жены Антоколон, верстах в пятидесяти от Вильны. Здесь-то 19 марта 1800 года, в день святого Иосифа, и родился впоследствии знаменитый русский журналист, последняя отрасль фамилии Сенковских, которого нарекли Иосифом-Юлианом.

Польское происхождение Сенковского – существенный факт его биографии, который нельзя оставить без некоторых пояснений. Мы и дадим их, чтобы больше уже не возвращаться к этому, так как, признаться, это довольно скучная материя. Поляки часто упрекали Сенковского в отступничестве, русские люди не менее часто заподозривали его в лицемерии и третировали его как ренегата. В доносах Булгарина не раз упоминается о *поляке* Сенковском; министр народного просвещения, граф Уваров, также не прочь был поставить ему в вину его польское происхождение. Но любопытно, что сам Сенковский всю свою жизнь держался от “польского” дела в стороне и с “русской” точки зрения николаевской эпохи был как нельзя более благонамеренным. Презирая революцию и демократию, Сенковский с большой насмешкой относился и

к польскому движению тридцатых годов. Однажды он сам как нельзя более резко и определенно высказался по этому поводу. В сатирическом произведении “Большой выход у Сатаны” мы находим следующее описание чërта революций: “Предстал чорт старый, гадкий, оборванный, изувеченный, грязный, отвратительный, со всклокоченными волосами, с одним выдолбленным глазом, с одним сломанным рогом, с когтями, как у гиены, с зубами без губ, как у трупа, и с большим пластырем, прилепленным сзади, пониже хвоста. Под мышкою торчала у него кипа бумаг, обрызганных грязью и кровью; на голове – старая кучерская лакированная шляпа, трехцветная кокарда; за поясом – кинжал и пара пистолетов; в руках – дубина и ржавое ружье без замка. Карманы его набиты были камнями из мостовой и кусками бутылочного стекла”. Это чëрт бунта, по имени Астарот. Польская революция описывается так: “Потом, – сказал Астарот, – я пошевелил еще одну нацию, жившую благополучно на сыпучих песках по обеим сторонам одной большой северной реки. Вот уж был истинно забавный случай! Никогда еще не удавалось мне так славно надуть людей, как в том деле; да, правду сказать, никогда и не попадался мне народ такой легковёрный. Я так искусно настроил их, столь вскружил им голову, запутал все понятия, что они дрались как сумасшедшие в течение нескольких месяцев, гибли, погибали и теперь еще не могут дать себе отчета, за что дрались и чего хотели. При сей okazji я имел счастье доставить вам с лишком 100 тысяч самых отчаянных проклятых!..”

Понятно теперь, почему Мицкевич называл Сенковского ренегатом; но менее понятно, почему русские люди не могли забыть его польского происхождения и ожидали с его стороны какой-нибудь выходки, зловредной для отечества.

Школьные годы Сенковского прошли как нельзя более удачно. “Быстрые способности при необыкновенной памяти, – говорится в биографии, – облегчили первоначальное домашнее воспитание мальчика. Происходило оно под надзором образованной матери, которая до конца своей жизни (в сороковых годах) с восторгом следила за блистательными учеными и литературными успехами своего излюбленного сына”. Сенковский рано познакомился с классическими языками и четырнадцати лет поступил в Минский коллегиум. Но там он оставался недолго. Его учитель и друг Гроддек, профессор Виленского университета, говорил, что в коллегиуме ему нечего делать, и посоветовал матери поскорее отпустить его в Вильну, в университет, где сам читал греческую и латинскую словесность. “Мой наставник в греческой литературе, Гроддек, – писал

Сенковский тридцать лет спустя – был один из учнейших немцев, мастер на сводки, на разночтения, известный в греко-латинском мире комментатор и издатель нескольких трагедий Софокла и Еврипида. Эрудиция его казалась нам еще громаднее его горба. Несмотря на изысканный педантизм, чтения его приносили нам большую пользу, осваивая с текстами классических поэтов. Первою нашей любовью был Гомер. Мы обожали этого слепого нищего старика, мы проводили целые ночи в обществе несравненного ионийского бродяги, слушая его бойкие живописные рассказы. С восторгом, но без восторженности, без ученых преданий, без теорий, беседовали мы с ним об этом странном мире, из которого прикочевал он петить нам свои уличные рапсодии. Счастливые времена, счастливые нравы, сладкие воспоминания!”

Здесь же, в Виленском университете, благодаря лекциям Лелевеля и наставлениям того же Гроддека Сенковский заинтересовался Востоком. “Гроддек, – вспоминает Сенковский, – заохочивал нас к изучению Востока, его нравов, понятий, литератур и говорил: “Через него вы яснее поймете Древнюю Грецию. Востоком объясняется Греция, Грецией – Восток; они родились, выросли и умерли вместе. Ройтесь во всех развалинах, сравнивайте все, что ни найдете здесь и там; тут есть сокровища, еще не ведомые нынешнему разуму”. Сенковский, не откладывая дела в долгий ящик, принялся самоучкою за изучение арабского, еврейского и других восточных языков.

Кстати отмечаем любопытный факт: Сенковского постоянно тянуло на Восток. Что находил он там, в этой стране знойного солнца, песчаных пустынь, грандиозных развалин когда-то великой цивилизации, холодных фонтанов, чернооких дев, таинственно прикрытых длинными покрывалами, в той стране, наконец, где смелая, прихотливая и свободная фантазия так легко уживается с ужасным рабством действительной жизни? Нисколько не будет преувеличением, если мы скажем: Сенковскому на Востоке нравилось все. Во всем написанном им замечен колорит Востока, и его воображение с особенным удовольствием рисовало картины, подобные картинам “Тысячи и одной ночи”. Тут есть где разгуляться, есть на чем отдохнуть глазу, есть достаточно материала для удовлетворения всякой умственной прихоти.

То и дело возвращается он к Нубии, Сирии, Кор-дофану, то и дело заимствует образы из произведений восточных писателей; ему нужны пестрые краски восточной жизни, прихотливые письмена, разноцветные узоры ковров, резкая красота восточных женщин, богатства восточной природы, зной солнца в пустынях Сирии. Поэзия русской

действительности была совершенно незнакома ему. Он никогда не мог понять стихотворения Лермонтова “Люблю отчизну я, но странною любовью...”; ему был противен Гоголь со своими Петрушками, Селифанами, Ноздревыми и Собакевичами. Он морщился от подобного рода картин, морщился так же искренне, как искренне восхищался пестрой красотой восточной жизни.

Но вернемся к рассказу.

В Сенковском рано проявились две особенности его дарования – стремление к энциклопедичности и юмор. Он увлекался Востоком, но это нисколько не помешало ему заниматься медициной, естественными науками, литературой и историей. Как юморист он был самым деятельным членом “Товарищества шалунов” (“Towarzystwo szubrawcow”), в котором председательствовал профессор Виленского университета филолог Снядецкий. Веселое товарищество издавало в конце 1816 года юмористический листок, имевший огромный успех у публики. Сенковский был в этом журнале одним из остроумнейших сотрудников. В то же время, как бы желая показать, что шутка не мешает делу, он перевел с арабского языка на польский басни Лукиана и издал их в 1818 году с введением, примечаниями и посвящением: “Товариществу шалунов” от “непременного его члена”. Это были первые шаги его на поприще литературы. Ему шел только девятнадцатый год. Через несколько месяцев после этого он окончил университетский курс. Профессора возлагали на него большие надежды и предполагали отправить за границу, но Сенковский бредил только Востоком. Он задумал отправиться туда путешествовать, и даже недостаток денег не останавливал его. Деньги, впрочем, нашлись. Почти накануне отъезда Сенковский женился на одной виленской перерезрелой красавице, которая, вместе с рукой и сердцем, доставила ему и нужные на поездку деньги. Сам Сенковский в 1834 году описывал свое путешествие на Восток следующим образом:

“С жадностью к науке, – писал в 1834 году мнимый Осип Морозов, – с тою доверенностью к своим силам, с тем презрением здоровья и упрямством в достижении возмечтанной цели, которые легко себе представить в неопытном человеке лет двадцати, я некогда бросился, без проводника и пособия, в этот неизмеримый чертог природы – один из великолепнейших чертогов, воздвигнутых ею на земле в ознаменование своего могущества, – не рассуждая об опасности не выйти из лабиринта заоблачных вершин, на которых можно замерзнуть среди лета, и раскаленных пропастей, где органическая жизнь жарится в самой страшной духоте, какую только солнце производит. Ограниченные средства



повелевали мне узнавать скоро все, что я мог узнать в том краю, и не забывать ничего однажды приобретенного памятью. С потом чела перетаскивал я свои книги с одной горы на другую – книги были все мое имущество – и рвал свое горло в глуши, силясь достигнуть чистого произношения арабского языка, которого звучность в устах друга или бедуина, похожая на серебряный голос колокольчика, заключенного в человеческой груди, пленяла мое ухо новостью и приводила в отчаяние своею неподражаемостью. Уединенные ущелия Кесревана, окружая меня колоннадою черных утесов, вторили моим усилиям: я нередко сам принужден был улыбнуться над своим тщеславием лингвиста при виде, как хамелеоны, весело пробегавшие по скалам, останавливались подле меня, раскрывали рот и дивились пронзительности гортанных звуков, которые с таким напряжением добывал я из глубины легких. Возвратясь в конурку, занимаемую в каком-нибудь маронитском монастыре, я так же отчаянно терзал свои силы над сирскими и арабскими рукописями, отысканными в скудной библиотеке грамотного монаха: поспешно списывал любопытнейшие из них, читал наскоро те, которые не успевал списать, делал извлечения, отмечал найденные в них живописнейшие фразы или слышанные идиотизмы<sup>[2]</sup> разговорного языка и твердил их наизусть всю ночь.

Два, много три часа отдыха на голой плите, со словарем вместо подушки, были достаточны для возобновления бодрости к новым, столь же насильственным занятиям, которые прерывались только охотою за бегающим по сырым стенам келий скорпионом, или абу-борейсом, ящерицею невинною, даже красивою, но поселявшею во мне непреодолимое отвращение.

Исчерпав в несколько дней мудрость бедной обители, я отправлялся далее – искать новых впечатлений и разделять с другими отшельниками блюдо варенной в деревянном масле чечевицы. Так провел я шесть или семь месяцев, пока неумеренное напряжение умственных и телесных сил, грубая и нездоровая пища, усталость и лишения всякого рода не остановили моей пылкости опасною болезнью, которая заронила в мою грудь зародыш постоянного страдания – быть может, преждевременной смерти. Усилия мои в изучении местного арабского наречия увенчались успехом, который льстил моему самолюбию: я сознаюсь в этом без ложной скромности, так же смело, как бы сказал, что выучился чисто работать скобелем, если б когда-нибудь занимался столярным делом. Между этим упражнением и наукою языков я усматриваю большое сходство: первое – механическое дело руки, второе – механическое дело органов памяти,

жевания и глотания. Но преодоленная трудность всегда делается для нас, даже и в столярном ремесле, источником самодовольства и гордости: я считал себя почти равным Аристотелю, когда аравитяне, которые к своему языку проникнуты настоящим обожанием любовников и новые каламбуры, быть может весьма основательно, ценят так же высоко, как мы – новые мысли, называли меня фейлусуф, философом, за то, что я хорошо произносил их гортанные буквы, или спорили со мною, что я не франк, а должен быть ибн-эль-араб, арабский сын. Мне удалось состряпать десяток дурных арабских стихов, которые имели большой успех в околотке, и слава моя распространилась на несколько смежных гор.

Шейхи (дворяне) маронитов и друзов часто заезжали ко мне выкурить трубку джебели с любопытным франком, который “знает толк”, и осведомиться о политических новостях Европы: здоров ли папа? что делает фагфур, китайский император? и прочая”.

Путешествие Сенковского продолжалось не многим более двух лет, считая со дня отъезда его из Вильно. Он вернулся с богатым запасом сведений по восточной лингвистике, вывез массу ценных наблюдений и немало любопытных памятников старины. Любая карьера была доступна ему, и, между прочим, даже служебная. Еще во время поездки ему удалось получить хорошее место при константинопольской миссии; когда же он вернулся в Россию, то граф Румянцев поспешил определить его переводчиком при коллегии иностранных дел. В 1821 году Сенковский был подвергнут официальному испытанию Академией наук и получил блестящую аттестацию от профессора Френа. В 1822 году его назначили профессором Петербургского университета по кафедре излюбленного им арабского языка. Следующее за этим годом десятилетие посвящено было Сенковским главным образом ученым трудам, говорить о которых мы не будем, так как общего интереса они не имеют; заметим только, что его переводы, издания, лингвистические и грамматические исследования высоко ценились современниками. В 1828 году он был назначен цензором в петербургский цензурный комитет; в том же году он развелся со своей первой женой, а в следующем вступил в брак с дочерью бывшего придворного банкира барона Ралля, Аделаидой Александровной, весьма образованной и милой дамой, как выражается г-н Савельев, малообразованной и отнюдь не милой дамой, как говорит Е. Ахматова.

О Сенковском как профессоре достаточно сказать несколько слов. Он мог читать блестящие лекции – в этом никто не сомневается – и читал их, пока не занялся журналистикой. Потом кафедра наскучила ему, и он целые годы тянул свое профессорское дело лишь ради пенсии. При этих условиях

исполнялось оно, конечно, неважно. Покойный Никитенко между прочим зафиксировал в своем дневнике маленькую сценку, в которой рассказывает, как однажды в университетских коридорах он встретил кучку студентов, “возмущенных грубостью Сенковского”. Где и куда делись эти студенты и чем кончилось их “возмущение” – мы не знаем, но эпизод приводим как любопытный. Грубое, презрительное отношение к другим – характерная черта героя нашей биографии. “Маленького роста, джентльменски одетый, в лакированных ботинках, с гордо поднятой головой, с презрительной улыбкой и презрительным взглядом – таков Осип Иванович Сенковский”, – если верить его современнику, видевшему его около этой эпохи.

Но мимо всего этого. Не будем наполнять страницы малоинтересными, ничуть для Сенковского не характерными деталями. Биография такого размера, как наша, по необходимости превращается в характеристику, сам же Сенковский интересен для нас прежде всего как журналист. Заметим только, что в результате упорных ученых занятий появился вполне по-европейски образованный человек, о громадных познаниях которого вот что между прочим говорит Дружинин:

“Во всей современной ему (Сенковскому) русской литературе не находилось человека, который в качествах, необходимых для журналиста, мог бы соперничать с основателем “Библиотеки для чтения”. По высокому, солидному, многостороннему образованию Сенковский мог назваться первым из первых литераторов своего времени. Кроме языков древних и восточных, он знал в совершенстве языки: русский, французский, английский, итальянский и польский; кроме глубоких сведений по отрасли наук, которым преимущественно посвятил он свои занятия в молодости (восточные языки и восточная литература), он имел обширные познания в науках естественных и политических. Читая беспрестанно и владея удивительною памятью, Осип Иванович, когда еще его здоровье допускало “излишество труда”, следил за всеми не только первостепенными, но и второстепенными и третьестепенными явлениями современной науки и словесности. Он мог беседовать с первоклассным медиком и удивлять его своими познаниями в области медицинских наук; первостепенные европейские виртуозы отдавали справедливость его парадоксальным, но глубоким взглядам на сокровенные законы их искусства; экономист, разговаривая с Осипом Ивановичем, видел, что ему

знакомы труды всех европейских, особенно английских писателей по части политической экономии. Понятно, что при обладании такими средствами Сенковский мог вести и вел свое периодическое издание несравненно лучше, чем его сверстники вели свои журналы”.

Для характеристики же литературной деятельности Сенковского в это время скажем несколько слов по поводу его “Фантастических путешествий”.

Признаюсь, я лично с величайшим удовольствием перечитал “Фантастические путешествия барона Брамбеуса”. Очевидно, что тема их как нельзя более подошла к таланту автора и он справился с нею легко и свободно. Сенковский в этом своем произведении добился того, о чем мечтает каждый писатель: полной, ничем не стесненной свободы. Он играет своим предметом будто мячиком: то отбросит от себя в сторону, то поймает опять и прижмет к себе крепко-крепко. Иногда на протяжении целых страниц он как будто забывает о теме, рассуждает о том, что пришло в голову, рассуждает бойко, остроумно, потом, точно спохватившись, с улыбкой возвращается к рассказу и продолжает его с прежней легкостью. Мне лично как нельзя более по душе эта независимость ума, эта гибкость игривой фантазии, эта способность быстро переходить от одного настроения к другому. Не буду вызывать великие тени Рабле, Монтеня, Вольтера, чтобы поставить рядом с ними Сенковского и тем польстить ему. Конечно, он много, слишком даже много ниже их, но в нем есть кое-что общее с этими недостижимыми представителями умственной гибкости, общее по типу, а не по степени. Хотите послушать, как острит барон Брамбеус? Вот, например, его отзыв об иероглифах: “В короткое время я сделал удивительные успехи в чтении этих таинственных письмен; свободно читал надписи на обелисках и пирамидах, объяснял мумии, переводил папирусы, сочинял иероглифические каймы для салфеток и даже сам открыл половину одной египетской дотоле неизвестной буквы, за что покойный Шампольон обещал доставить мне бессмертие, упомянув обо мне в выноске к своему сочинению. Правда, г-н Гульянов оспаривал основательность нашей системы и предлагал другой, им самим придуманный способ чтения иероглифов, по которому смысл данного текста выходит совершенно противный тому, какой получается, читая его по Шампольону, но это не должно никого приводить в смущение, и спор двух ученых мужей я могу решить одним словом: метода, предначертанная Шампольоном, так умна и замысловата, что ежели египетские жрецы в

самом деле были так мудры, как изображают их древние, они не могли и не должны были читать своих иероглифов иначе как по нашей методе; изобретенная же г-ном Гульяновым иероглифическая азбука так нехитра, что если где – и когда-либо была она в употреблении, то разве у египетских дьячков и пономарей, с которыми мы не хотим иметь дела. Суть же нашей системы сводится к тому, что всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, изображающая то или другое понятие, или ни буква, ни фигура, а только произвольное украшение почерка. Итак, нет ничего легче, как читать иероглифы: где не выходит смысла по буквам, там должно толковать их метафорически; если нельзя подобрать метафоры, то допускается совсем пропустить иероглиф и перейти к следующему, понятнейшему”. За это и подобные ему места барона Брамбеуса упрекали в неуважении к науке. Помилуйте, как можно не верить в науку? – восклицала критика. Однако если начать упрекать Сенковского за неверие, то придется делать это в отношении не только науки, а чего-то гораздо большего. Фантастические путешествия насквозь проникнуты скептицизмом. Остановимся на одном из них – ученом.

Сюжет его следующий.

Сам автор, доктор философии Шпурцманн и обер-берг-пробирмейстер 7 класса Иван Антонович Страбинский после долгой поездки по реке Лене прибыли наконец к ее устью. Ехали довольно весело. “Невозможно представить себе ничего забавнее почтенного испытателя природы, доктора Шпурцманна, согнутого дугою, на тощей лошади и увешанного со всех сторон ружьями, пистолетами, барометрами, термометрами, змеиными кожами, бобровыми хвостами, набитыми соломой сусликами и птицами, из которых одного ястреба, за недостатком места за спиною и на груди, посадил он было у себя на шапке. В селениях, через которые мы проезжали, суеверные якуты принимали его за великого странствующего шамана, с благоговением подносили ему кумысу и сушеной рыбы и всячески старались его заставить хоть немножко пошаманить над ними. Доктор сердился и бранил якутов по-немецки. Те, полагая, что он говорит с ними священным тибетским наречием, еще более оказывали ему почтения и настоятельнее просили изгонять из них чертей”. После подобного рода комических эпизодов путешественники прибыли к устью великой сибирской реки и тут, к немалому своему изумлению, наткнулись на высокую скалу, все стены которой были исписаны таинственными знаками. Любопытство овладело ими, бессмертие и слава мерещились им, и они принялись разбирать надписи. К счастью, знаки оказались иероглифами, а читать их, как мы видели, “очень просто”. Каков же был восторг

путешественников, когда, прочтя несколько слов, они убедились, что перед ними рассказ человека – очевидца большого потопа. Этот рассказ – целый роман с прихотливыми сплетениями любовной интриги, трагическими описаниями смерти, остроумными монологами ученых педантов...

В той свободе, с которой Сенковский отдавался своему настроению, так легко и смело переходил от одной картины к другой, есть много увлекательного. Он острит, шутит, смеется на каждой странице, не всегда даже знает меру остроумия, но стоит только заглянуть за прихотливые арабески фантазии, вникнуть в смысл рассказа – и перед нами разворачивается настоящая трагическая эпопея.

Веселое общество, не мучимое никакими тревогами и сомнениями, легкомысленное и детски наивное, занятое игрой своих страстей, своего самолюбия и тщеславия, живет, изо дня в день повторяя исстари заведенную песню. Влюбляются, ревнуют, враждуют, сердятся, смеются – и тянется целые годы и века маленькое, пошлое существование. Перед читателем выступают: ученый колпак-астроном Шимшик, для которого в жизни нет более серьезной цели, как доказать, что его противник ошибается; легкомысленная и легкокрылая Саяна, хорошенькая кокетка, вся погруженная в любовные интриги; целая коллекция бездельных <sup>[3]</sup> юных джентльменов и домовитых стариков. Что за бестолковая, что за бессмысленная жизнь! Один собирает археологические коллекции, другой по уши погрузился в гастрономию, третий – в свои страсти, четвертый – в наряды, балы, развлечения. И ни у кого нет мысли, что так жить нельзя, что есть что-то великое и таинственное в земном бытии человека... И вдруг на это праздное, легкомысленное общество надвигается смерть. Неожиданно явилась она, принесенная кометой, неожиданно взбунтовались воды и суша. Города разрушены, все низменности залиты водой, люди в ужасе спасаются на высоких местах, но вода медленно и неотвратимо подбирается к ним.

Два человека спаслись от потопа на высокой скале. Один – это тот, кто оставил описание потопа, другой – кокетливая, хорошенькая Саяна. Вот маленькая заключительная сценка: “Я пытался, однако же, доставить моей подруге облегчение, но она отринула все мои услуги. Пришедши в себя, она плакала и не говорила со мною. Я поклялся вперед не мешать ее горести. Мы поворотились друг к другу спиной и так провели двое суток. Между тем голод повергал меня в исступление: я кусал самого себя. “Саяна, – воскликнул я, срываясь с камня, на котором сидел, погруженный в печальные думы. – Саяна!.. Посмотри!.. Вода уже потопила вход в пещеру”. Она оборотилась к отверстию и смотрела бесчувственными,

окаменелыми глазами. “Видишь ли эту воду, Саяна? То наш гроб”. Она все еще смотрела, страшно, недвижно, молча и как будто ничего не видя. “Ты не отвечаешь, Саяна?!” Она закричала сумасшедшим голосом, бросилась в мои объятия и сильно-сильно прижала меня к своей груди. Это судорожное пожатие продолжалось несколько минут и ослабело одним разом. Голова ее упала на мою руку; я с умилением погружал взор свой в ее глаза и долго не сводил его с них. Я видел внутри ее томные движения некогда пылкой страсти самолюбия; видел сквозь сухое стекло глаз, как в душе ее, подобно волшебным теням на полотне, проходили туманные образы всех по порядку прежних ее обожателей. Вдруг мне показалось, будто в том числе промелькнул и мой образ. Слезы брызнули у меня дождем: несколько из них упало на ее уста – и она с жадностью проглотила их, чтобы утолить свой голод. Бедная Саяна!.. Я спаял мои уста с ее устами искренним, сердечным поцелуем и несколько времени оставался без памяти, в этом положении. Когда я очнулся, она была уже холодна, как мрамор... Я рыдал целый день над ее трупом. Несчастная Саяна!.. Кто препятствовал тебе умереть счастливою на лоне истинной любви?... Ты не знала этой нежной, роскошной страсти. Нет, ты ее не знала и родилась женщиною только из тщеславия... Я, однако же, и тогда еще обожал ее, как в то время, когда произносили мы первую клятву любить друг друга до гробовой доски. Я целовал тело ее страстными поцелуями. Вдруг почувствовал я в себе жгучий припадок голода и в остервенении запустил алчные зубы в белое мягкое тело, которое осыпал поцелуями... Но я опомнился и с ужасом отскочил к стене...”

Читатель, наверное, кое-что и сам слышал о Сенковском, и большая часть этого “кое-что”, надо думать, не особенно лестная. Но отдадим ему должное: в нем был несомненный поэтический талант, по крайней мере вначале, пока не задушила его постоянная журнальная работа. Ему присущи были и глубокие мысли, и если хотите убедиться в этом, то посмотрите его повесть “Любовь и смерть” или то же самое путешествие на ученый остров, которое нам пришлось передать лишь вкратце. Мысль этого произведения – большая мысль; не она ли представлялась Гоголю, когда он писал в своей памятной книжке: “Город... пустословие... сплетни... праздная жизнь, пустая и ничтожная... И вдруг является смерть – непрощенный гость – откуда-то... Выхватывает жертву... Недоумевают и принимают за старое...”

Та же мысль воодушевила Сенковского. Не всякое время симпатизирует ей, не во всякую эпоху привлечет она внимание. Но это большая мысль, в которой видна частичка вечной проблемы, заданной

человеку: “Зачем он здесь, на земле?” Надо быть поэтом, надо иметь глубину душевную, чтобы проникнуться ею...



## ГЛАВА III

*Начало “Библиотеки для чтения”. – Сенковский как редактор. – Литературные нравы тридцатых годов. – Характеристика “Библиотеки для чтения”. – Сенковский как критик. – Что дал обществу его журнал*

В конце 1833 года появилось от имени Смирдина объявление об издании “Библиотеки для чтения”. Редакторами журнала названы были Н.И. Греч и О.И. Сенковский, сотрудниками – почти все литературные известности, числом до шестидесяти. Журнал должен был выходить с января 1834 года книжками около 20 печатных листов. По содержанию он разделялся на семь отделов: русская словесность, словесность иностранная, науки и художества, промышленность и сельское хозяйство, критика, литературная летопись и, наконец, “смесь”. Учредители обещали остаться вне партий, не входить в споры с другими журналами, не отвечать на выходки и критику, не принимать антикритику.

Нельзя не согласиться, что время для издания нового журнала было выбрано как нельзя более удачно: “Московский телеграф” только что замолчал, между тем как шум, произведенный его блестящей карьерой и неожиданной гибелью, еще не улегся; он первый приучил публику к журналу, и после него осталось пустое пространство, заполнить которое и взялась “Библиотека для чтения”. Далее мы увидим, как исполнила она свою задачу, пока же заметим, что между нею и ее предшественником была серьезная разница, что видно, между прочим, и из приведенного выше объявления. “Московский телеграф” был журнал боевой, с неособенно широкими, но вполне определенными целями, его редактор – Н.И. Полевой – сумел соединить свои симпатии и антипатии с общественными движениями; под прикрытием литературной критики и романтического направления “Московский телеграф” зачастую затрагивал очень серьезные общественные вопросы; он, наконец, был органом известного направления. Не то “Библиотека для чтения”. С первого своего появления она выставила энциклопедическую программу, которой и держалась худо или хорошо до конца своих дней. Отметим еще одну характерную сторону объявления: журнал обещал оставаться вне партий и не вступать ни в какую полемику. Не совсем ясно, на какие партии делается намек, ибо в то время никаких партий не было да и быть не могло, так как начальство очень подозрительно к ним относилось и предпочитало единодушие, а в случае

надобности даже настаивало на нем; но все же, повторяю, это торжественное обещание – быть вне партий – характерно и наряду с прочим должно было говорить об энциклопедическом характере будущего журнала. Нежелание полемизировать указывало, с одной стороны, на попытку собрать если и не под одним знаменем, то, по крайней мере, в одном месте все литературные силы, а с другой стороны, – успокоить публику, которой все эти литературные дразги начали уже приедаться. Ведь если припомнить, что критиками и антикритиками наполнялись в то время целые журнальные тома; что “Московскому телеграфу” приходилось даже издавать особенные полемические приложения; что литераторы грызли друг друга совсем не по-человечески; что читателю случалось встречать целые десятки страниц, посвященных “безграмотству” такого-то, на которых доказывалось, что такой-то – оставляя уже в стороне вопрос о его добродетели и нравственных качествах вообще – не умеет писать по-русски, не понимает правил, относящихся к расстановке знаков препинания и пр., и пр.; что подобного рода нападки опровергались, вызывали новые нападки и новые опровержения, – то ясно, что как ни прост был читатель того времени, а все же ему приходилось нелегко.

“Библиотека для чтения”, оставляя в стороне полемику и антикритику, обещала прежде всего быть интересной и разнообразной. Предполагался, по-видимому, ежемесячный альманах, в котором каждый мог бы найти все, что ему по вкусу и по силам разумения. Публика отнеслась к этому с полным сочувствием. Накануне нового года появилась первая книжка “Библиотеки для чтения” и произвела большое впечатление. Начиная с объема и наружности, все превосходило ожидания. Вместо 20 обещанных листов дано было 40, книга была напечатана в лучшей типографии, на хорошей бумаге, не то что серобумажные журналы того времени, к которым как нельзя более применимы слова лермонтовского читателя:

И я скажу – нужна отвага,  
Чтобы открыть... хоть ваш журнал  
(Он мне уж руки обломал):  
Во-первых, серая бумага,  
Она, быть может, и чиста,  
Да как-то страшно без перчаток...  
Читаешь – сотни опечаток...

В книге фигурировали все знаменитости. Мы встречаем имена

Пушкина, Жуковского, Козлова, Греча, Булгарина, Полевого, Погодина и других. Сам Сенковский для первого номера дал научную статью о скандинавских сагах, остроумную и оригинальную повесть под названием “Вся женская жизнь в нескольких часах”, где очень талантливо рассказана судьба какой-то бедной институтки, влюбившейся в шалопая, и критическую статью, бойко опровергавшую все правила всех риторик и пиитик.

С этой поры началась поразительная по объему и разнообразию журнальная деятельность Сенковского. “Библиотеку для чтения” он сразу забрал в свои руки и стал единовластно распоряжаться ею. Он не жалел себя, своего здоровья, своих сил, был единственным редактором и единственным сотрудником. Полная тревог и волнений, кропотливой и спешной работы жизнь журналиста увлекала его. Он чувствовал, что это истинное его призвание, и всем жертвовал для него. Потребуются десятки страниц, чтобы перечислить только заголовки его статей; едва-едва уместятся статьи эти в десяти томах. Но это, конечно, только часть работы – и притом меньшая часть. Другая, неизмеримо большая – работа редактора, – теперь едва заметна и так хорошо забыта, что трудно и напомнить о ней.

Кроме Сенковского “Библиотека для чтения” имела еще ответственных перед правительством редакторов, в первый год известного грамматиста Н.И. Греча, во второй – Крылова. Но ни тот, ни другой никакого участия в деле не принимали, и о редакторстве последнего “Библиотека для чтения” извещала читателей (в октябре 1835 года) в следующих выражениях: “За кометой мы совсем забыли одно обстоятельство, о котором давно следовало известить наших читателей: еще с мая месяца “Библиотека для чтения” лишилась лестного руководства, которое принял было на себя знаменитый наш поэт И.А. Крылов. Преклонность лет не позволила ему продолжать мучительных занятий редактора”. Когда Сенковский получил наконец разрешение объявить себя гласно редактором, он сделал это (в августе 1836 года) в следующих словах: “Для отклонения неуместных догадок и толков считаем нужным сказать откровенно, что с самого начала существования этого журнала, как то почти всем известно, настоящим его редактором был всегда сам директор и общий с издателем владелец его, О.И. Сенковский, и что никто в свете, кроме г-на Сенковского, не имел ни малейшего влияния на состав и содержание “Библиотеки для чтения”. Все ее недостатки, равно как и все достоинства, если какие были, должны быть приписаны ему одному. Те, которые носили звание редакторов “Библиотеки для чтения”, слишком невинны в ее недостатках, чтобы отвечать за них перед публикой,

и слишком благородны, чтобы требовать для себя похвалы за достоинства, в которых они не имели никакого участия. Весь круг их редакторского действия ограничивался чтением третьей, последней корректуры уже готовых, оттиснутых листов, набранных в типографии по рукописям, которые никогда не сообщались им предварительно. Те из них, которые притом давали свои статьи, давали их как сотрудники, а не как редакторы, и помещение этих статей зависело вполне от директора журнала. О.И. Сенковский, убедясь двухлетним опытом, что этого рода содействие посторонних редакторов нисколько не облегчало его в мучительных трудах директора, по согласию с издателем решился соединить с званием директора “Библиотеки для чтения” звание ее редактора, которого по-настоящему он нес все главные обязанности. Вот и все!”

Сенковский в этих строках отнюдь не преувеличивал своей роли. “Библиотеку для чтения” он смело мог назвать своим собственным журналом. Как редактор он был положительно неутомим. “У меня, – говорил он впоследствии, – было немало хлопот по журналу; я был и редактором, и сотрудником, и корректором, и подчас переводчиком”. Сенковский работал с юношеским жаром, нисколько не заботясь о своем здоровье и даже о будущем. Он весь отдавался минуте, вечно сидел у себя в кабинете, зарывшись в книги и рукописи, и отдыхал всего-навсего один или два дня в продолжение месяца. Ни одна статья, ни одна самая крошечная заметка не миновала его рук. Он выбирал статьи для переводов, для чего читал до двадцати иностранных журналов и газет; затем просматривал, изменял, дополнял сделанные переводы; вновь пополнял их в корректурах и при всем том находил время писать собственные статьи для всех отделов журнала: за один лишь первый год существования “Библиотеки для чтения” они составили более 60 печатных листов, или около 1000 страниц. Работа увлекала его, тем более что эта работа сопровождалась огромным успехом. И днем, и ночью он не отрывался от письменного стола, пока не доводил до конца заданного себе труда, и ложился лишь после совершенного утомления или даже изнеможения. Накануне выхода книжки проводил он день и ночь часто в типографии, чтобы быть уверенным в непременно появлении ее первого числа, и затем только успокаивался и позволял себе отдохнуть один или два дня. На третий уже начиналась та же мучительная работа для следующей книжки. Не говоря уже о статьях, назначенных к извлечению из иностранных журналов, и все оригинальные статьи, не подписанные известным в литературе именем, проходили через редакцию Сенковского, то есть получали форму и изложение, усвоенные им для своего журнала. Сенковский, вообще говоря, с сотрудниками не

церемонился. В своем журнале он был настоящим деспотом, который свое “*telle est ma volonté*” (такова моя воля) ставил всегда на первый план. Даже повести и рассказы второстепенных писателей подвергались нередко большим изменениям. Не раз случалось, что Сенковский даже не дочитывал рукописей: повесть нравилась ему по сюжету, в голове его рождалась при ее чтении счастливая мысль, – он отдирал конец рукописи и приписывал свой. Авторы, естественно, обижались и имели, надо сознаться, полное на это основание. Об иностранных сочинениях нечего, конечно, и говорить: те всегда представлялись читателю в измененном, исправленном и дополненном виде; выбрав роман или ученое сочинение для перевода на русский язык, Сенковский обыкновенно сокращал его во время самого чтения, вычеркивал растянутые и ненужные места, связывал статью своими приписками и вставками всегда на том же языке, на котором она была написана, и только тогда отдавал ее переводчику. “Любопытно было видеть иные статьи в книжках французских и английских журналов все перечеркнутые, с массою приписок, сделанных четкою рукою Сенковского на полях и сверх того иногда на особых вложенных листочках, так что из иностранной статьи не оставалась нетронутой ни одна строка”. И таких статей было множество в “Библиотеке для чтения”. Все они печатались без подписи и имени, иногда с обозначением двух или трех журналов, из которых были взяты; иногда – если это была повесть или рассказ – с псевдонимом вместо имени. Эти неблагодарные труды редактора были секретом его мастерской, публика о них не знала и не могла их ценить, хотя все видели единство духа, направления, формы и изложения во всех статьях журнала, как будто все они были написаны одной рукой – что и недалеко от истины.

Словом, с точки зрения трудолюбия и редакторской техники Сенковский заслуживает настоящего панегирика. Но нужна ли была такая гигантская работа и не вредила ли она, в сущности, делу? Правда, много можно говорить и еще более можно спорить о пределах редакторской власти; но, как кажется, фанатизм, доведенный в этом случае до крайности, едва ли особенно полезен. Направление – дело редакции, это очевидно; но надевать на сотрудников кандалы, заставлять их маршировать по определенному шаблону, стремиться к полному казарменному однообразию – это значит хватать через край. Никогда никакое самолюбие, тем более самолюбие литературное, не согласится на такую ферулу и опеку. Настоящий писатель дорожит каждой своей буквой и словом, и слишком деспотическому редактору всегда в конце концов придется окружать себя второ- и третьестепенностями или даже остаться в одиночестве, что и

случилось с Сенковским. Авторы истерзанных, сокращенных и совсем переделанных статей оскорблялись, нередко протестовали в газетах и только в случае крайней необходимости возвращались в “Библиотеку для чтения”.

Но с деспотизмом великого человека можно еще примириться, лишь бы этот деспотизм происходил от величия, одушевленного верой, пусть даже фанатической, лишь бы в нем не было ничего капризного и произвольного, чем, по нашему мнению, зачастую грешил О.И. Сенковский. Поэтому-то, думается нам, возможно воспевать ему панегирики как редактору за трудолюбие, но, очевидно, слишком мало одного трудолюбия для такого сложного и громадного дела, как издание журнала. Мало даже знания, искусства, умения; нужно нечто большее, и это большее – нравственная сила.

Труд редактора – совсем не механический труд. С громадным запасом сведений, с чутьем к интересному и разнообразному можно издавать хороший альманах, прекрасный энциклопедический словарь, но никак не журнал или газету. В глазах своих сотрудников редактор должен быть настоящим героем, и чем выше проба этого героизма – тем лучше. Никаких сил одного человека, никакого его трудолюбия не хватит для ежемесячного издания. Только окружив себя лучшими литературными силами, только сумев воспитать их и вдохновить в нужном направлении, он может рассчитывать на действительный успех. Что такое один он? Пускай он работает 24 часа в сутки, перечитывает все журналы и газеты, сам переводит, сам корректирует – этого недостаточно; при подобных условиях его дело умрет, как бы успешно ни пошло оно вначале. Редакторский труд гораздо сложнее, он сводится к умению одушевлять и вдохновлять. Быть настоящим, а не мнимым центром литературного кружка, быть лучшим выразителем принятого направления, первым и преданнейшим защитником водруженного знамени, быть объединителем в широком смысле слова – вот что, по-нашему, значит быть редактором.

*Этого-то* совсем не доставало Сенковскому. Почему? Послушаем Дружинина.

“Трудно, – говорит он, – объяснить с достоверностью причины того литературного одиночества, которого постоянно держался Сенковский и которое по временам вводило его в странные и безвыходные положения; но нам кажется, что в одиночестве этом не было ничего преднамеренного или исходящего из пренебрежения к другим литераторам. Мы знали Осипа Ивановича около десяти лет и во все эти десять лет не подсмотрели в его характере никакой неуживчивой особенности, не подслушали в его

разговорах о литературе чего-нибудь очень враждебного новому ее направлению. Некоторые из современных писателей, незнакомые ему лично и даже предубежденные против его литературной деятельности (например, И.С. Тургенев), были любимыми авторами покойника, и всякую их хорошую вещь он приветствовал с полным радушием. Когда ему приходилось сходиться с каким-нибудь литератором, составившим себе известность за последние годы, Осип Иванович всегда оказывался и приветливым, и общительным. Но в его характере, и это мы знаем наверное, преобладающею особенностью всегда было то, что англичане называют *shyness*, то есть отчасти врожденная, отчасти развитая обстоятельствами трудность к сближению с другими людьми. Искать в ком-нибудь, подлаживаться к другому человеку он не мог бы ни за что на свете; но если обстоятельства сами сводили его с существом, достойным приязни, он его держался постоянно и в своих сношениях с ним иногда бывал очарователен. Мы помним ночные беседы и немногочисленные собрания, посреди которых покойный Сенковский любил давать волю своему остроумию, а остроумие это в изустных беседах по временам далеко оставляло за собой то замечательное остроумие, каким восхищались ревностные поклонники печатного барона Брамбеуса. Смело можно сказать, что воспоминания о подобных разговорах принадлежат к числу драгоценнейших воспоминаний нашей молодости. И сколько раз приходила нам в то время печальная мысль: и этот высокообразованный человек, с его светлым умом, с его ясным взглядом на вещи, с его терпимостью и пониманием жизни, человек, столько сделавший для русской словесности, гаснет посреди полного одиночества, им же вызванного, им же подготовленного! Память о годах, когда он все делал один и мог сам быть своим первым помощником, вредила Сенковскому очень много. В молодости ему было весело не нуждаться ни в ком, держать себя в стороне от молодого поколения, на сверстников своих глядеть с иронией, отчасти ими заслуженной. Но с годами пришли недуги и усталость, а здание, поддерживаемое столько лет одною, хотя очень сильною рукою, рухнуло с треском, чуть эта рука должна была опуститься”.

Отчасти в этом одиночестве умного человека виноваты и литературные нравы тридцатых годов.

О них можно сказать так: жестокие, сударь, были нравы. “Литература – общественное дело”. “Литература – отражение нашей жизни, ее, так сказать, святая святых”. “Литература – руководительница наших поступков”. Все это знаем мы с вами, читатель; но перенеситесь мысленно на 60 лет назад, забудьте все то, чему вы научились у Белинского и его

преемников, и вы увидите, что наши элементарные истины – которым, впрочем, мы и сами не следуем, а только признаем их – были малодоступны даже для людей не без мысли в голове. Что же говорить о массе. Державинская точка зрения, что поэзия не хуже холодного лимонада в летний зной, была распространена и на литературу вообще. Литература должна развлекать. Это признавали и в это верили. Но это бы еще не беда. Хорошее развлечение всегда полезно. Гораздо печальнее, что до понимания литературы как общественного дела и общественной силы возвышались разве один из тысячи читателей и столько писателей, что их можно пересчитать по пальцам. Одни писали потому, что им пишется, другие потому, что как ни скромна литературная карьера, а все же карьера. Чего искать в ней? Успеха, денег, пищи для тщеславия. Восхвалить приятеля и разнести врага, хотя бы врага на зеленом поле, – этого не чуждались представители слова. А публика тем более повсюду и везде искала и видела личность.

В 1833 году, то есть накануне своего вступления на литературное поприще, Сенковский написал прелестный очерк “Личности”. “Однажды в шутку, – читаем мы, – закричал я на улице: “Вор, вор!.. Ловите!..” Десять человек оглянулись. Один из них, входя в питейный дом, проворчал так, что я сам расслышал: “Ну, как у нас позволяют говорить на улице такие личности!..” Мой приятель, барон Брамбеус, шел по Невскому проспекту и думал о рифме, которую давно уже искал. Первый стих его оканчивался словом *куропатки*, – второго никак не мог он состряпать. Вдруг представляется ему рифма, и он, забывшись, произносит ее вслух: *куропатки?... берет взятки!* Шесть человек, порядочно одетых, вдруг окружили его, каждый спрашивает с грозным видом: “Милостивый государь! О ком изволите вы говорить? Это непозволительная личность”. В одной статье сказано было: “*Есть люди, которые никогда не платят своих долгов*”. Я прочитал эту статью поутру и глубоко вздохнул. Вечеру прихожу в одно общество: там читают эту же статью, и первое слово, которое слышу в зале: “Боже мой! За чем смотрят у нас цензора?... Как можно пропускать такие личности!” Напиши или скажи какую-нибудь истину – из нее тотчас выведут тебе две сотни личностей. Это обыкновенный порядок вещей на свете, но порядок весьма глупый... Да, это суцая беда! нельзя даже упомянуть ни о какой человеческой слабости, ни о каком злоупотреблении в свете, чтобы кто-нибудь к вам не придрался. Всякая глупость имеет своих ревностных покровителей. Прошу покорнейше не говорить ни слова об этой странности: она состоит под моею защитой. Как вы смеете, сударь, насмехаться над этим пороком?... Я



им горжусь: это моя неприкосновенная собственность... Недели две тому назад написал я статью о дураках. Две тысячи пятьсот восемьдесят семь человек подписали на меня формальную жалобу на предлинном листе бумаги, нарочно заказанном ими на петергофской фабрике, и подали ее по команде. Я не видел этого прошения, но говорят, что оно семью саженями, аршином и девятью вершками длиннее того, которое герцог Веллингтон поднес английскому королю от имени всей партии тори против билля о преобразовании парламента. Начальство, рассмотрев мою статью, не нашло в ней ничего предосудительного и отказало им в предмете жалобы. Огорченные неудачей, все они привалили ко мне требовать личного для себя удовлетворения. Улица была наполнена ими с одного конца до другого; на моей лестнице народ толпился точно так же, как на лестнице, ведущей в аукцион конфискованных товаров. Все они в один голос вызывали меня на дуэль...”

Такова была публика. А господа литераторы? Хуже или лучше? Припомним, как травили они “Московский телеграф” Полевого, потом “Отечественные записки”, травили, не давая отдыха и срока, травили упорно, с ненавистью, с ожесточением. Не о полемике уже надо говорить, а просто о ругани, в случае недостаточности которой прибегали к доносам. Какие времена, такие и нравы. Само собою разумеется, что направление тут было ни при чем. Травили не “представителя идеи”, а литературного конкурента, личного недруга. Все равно как ссорились и мирились в жизни, так ссорились и мирились в литературе.

“Личность” – вот что губило ее.

Припомним один характерный эпизод. В 1841 году была дана на сцене великолепная опера Глинки “Руслан и Людмила”. Булгарин и компания сговорились провалить это гениальное произведение во что бы то ни стало. Никому не интересно, какими мотивами они руководствовались, но очевидно, что эти мотивы были очень невысокой пробы. Сговорились и сделали. Со свойственной ему развязностью Булгарин заявил в своей “Северной пчеле”, что новое произведение Глинки ниже всякой критики. Дикий отзыв, но этот отзыв мог иметь последствия, так как Булгарина слушали. Узнав о его выходке, Сенковский решился заступиться за великого человека и его дело, что и исполнил с большим воодушевлением. “Мы имеем в Глинке один из огромнейших талантов, которые только существовали в музыке и владели орудиями звука”, – писал он. “Четвертый акт, – читаем мы дальше, – колоссальное создание, которое навсегда останется в музыке памятником того, что может сделать великий талант со звуками, гаммами и инструментами и как все тут повинуетя могучей

воле”.

Эпизод любопытный, но по тому времени настолько обыденный, что на него никто даже не обратил внимания. Это было в порядке вещей. И для полноты характеристики этого порядка позволю себе привести следующее письмо Сенковского к Ахматовой:

“Вы, – пишет он, – так милы, что хотите даже ненавидеть Булгарина. Благодарю вас за этот пленительный порыв дружбы вашей, но Булгарин не стоит ни любви, ни ненависти. Это человек без характера, без всякого правила в поведении, несчастная игрушка своих собственных страстей, которые попеременно делают его то ужасным, то смешным, то довольно порядочным. В одно и то же мгновение он в состоянии сделать и величайшую низость, и прекрасный подвиг благородства, сам вовсе не зная этого.

Я давно принял с ним и его братией роль хладнокровного наблюдателя, которого уже не обижают их мерзости, но который всегда готов отдать справедливость их хорошим сторонам. Эта роль бесит их. Они называют меня гордецом, прославили человеком неприступным, надменным, возмутили против меня целую тучу завистливых посредственностей, которая терзала и еще терзает меня своей глупою злобою и всеми гнусностями клеветы. Но моя неколебимость в предначертанной себе роли побеждает все эти мутные волнения мелочных и грязных страстей: когда я захочу, они все-таки сделают по-моему и тотчас смиряются, чтобы помириться со мною. Я обыкновенно довольствуюсь тем, что, удостоверившись во власти своей над ними, снова делаюсь для них неприступным и держу их в отдалении от себя. Тогда они снова начинают бранить меня; а я этого и хочу. Мне это очень нужно. Я не могу смешиваться с ними и не желаю, чтобы смешивали меня с такими людьми в публике. Оттого вы видите, что все наши журналы попеременно то поносят меня, то восхищаются мною. Когда я ласков с которым-нибудь из них, тотчас является в нем великолепная похвала моему уму, моим познаниям и прочая. Но для меня не выгодно, чтобы эти люди долго хвалили меня: порядочная часть публики тотчас подумала бы, что я уже веду с ними дружбу и компанию. Дав им время явиться моими льстецами, я вдруг оборачиваюсь к ним спиной – и они в бешенстве снова начинают терзать меня до новой вежливости с моей стороны. Это – моя забава и моя тактика. Независимость моего положения дает мне все средства играть с ними эту немножко жестокую комедию, но они не стоят ничего лучшего: они вполне заслуживают ее.

Для нее я даже жертвую очень многим, между прочим и моим

состоянием. Но иначе нельзя! Они думают, все думают, что я очень богат. Я один знаю, что это неправда: но пусть их думают!.. Это располагает их к готовности продать себя мне при первом изъявлении с моей стороны охоты купить их, и таким образом я всегда в состоянии показать свету всю меру их низости, всю причину их злобы и их раболепства. Когда мне нужно сорвать маску ожесточения с которого-нибудь из этих людей, я умею очень искусно бросить ему поживу, пять, десять тысяч рублей, – и он у ног моих, пока я сам не оттолкну его. О! Они дорого мне стоят! Но надо выдержать свою роль”.

\*

Пора нам, однако, после всех этих приготовительных разъяснений обратиться к главному и дать характеристику “Библиотеки для чтения”. Перед нами более ста томов журнала, из которых каждый – плоть от плоти и кость от кости самого Сенковского. Признаемся, мы не без уважения просматривали их. Мирно и спокойно стоят они теперь в библиотеке, плотно прижатые друг к другу, все в переплетах, с пожелтевшими, запятнанными страницами. Изредка тревожит их рука специалиста или такого случайного работника, как я, большую же часть времени никто ни на минуту не чувствует в них ни малейшей надобности. Груды книг вырастают возле них, над ними, внизу, и эти небольшие тома с каждым годом все более и более теряются среди новых пришельцев. Их дело сделано, покончены все расчеты, итог подведен, и, молчаливые свидетели прошлого, они не имеют достаточно внутренней силы, чтобы хоть чем-нибудь заявить о себе новым поколениям. А ведь было время, когда выход каждой из этой сотни книжек ожидался с нетерпением, когда торопливые руки нервно разрезали страницы и добродушный читатель с невольной улыбкой, выражавшей предчувствие удовольствия, набрасывался на литературную летопись или критические статьи, ожидая веселой шутки, бойкой остроты. Но все это прошло. Как замирающее эхо, доносятся до нас восторги читателей барона Брамбеуса, тот говор и шум, который возбуждала “Библиотека”; спокойные и забытые стоят ее тома. *Habent sua fata libelli*<sup>[4]</sup> – рождаются и умирают, и одна из сотни тысяч достигает бессмертия...

“Библиотека для чтения” – журнал Сенковского. Это, повторяем, плоть от плоти его; он сам появляется перед нами на каждой странице, и, зная его, мы уже предчувствуем, что должны содержать они. Мы видели, что у

Сенковского было достаточно данных, чтобы стать хорошим редактором, таким же вышел и его журнал.

У редактора-энциклопедиста журнал не мог не быть энциклопедическим: наука, иностранная словесность и “смесь” – вот те отделы, в которые Сенковский вложил всю свою душу. Он был несколько англоман, особенно в литературе. Новую французскую школу он недолюбливал и даже энергично преследовал ее, доходя подчас до странного и неприличного, в сущности, вышучивания таких крупных величин, как Жорж Санд. Эту последнюю он именовал не иначе, как г-жа Егор Занд. Ему больше нравилась английская литература с ее спокойным анализом человеческого сердца, и почти все лучшие ее произведения появлялись в “Библиотеке”. Постоянно встречаем мы переводы из Колриджа, Вордсворта, Диккенса, Теккерея, Скотта, Брума, Соммервиль и так далее. Немало и статей посвящено этим талантливым писателям, так что в общем читатели “Библиотеки” могли быть благодарны ее редактору. В “смеси” печатались каждый месяц краткие обзоры новостей английской и французской литератур с библиографическими списками появившихся на рынке книг. В отделе наук, особенно интересном и разнообразном, Сенковский знакомил публику со всеми открытиями и новинками в области положительных знаний. Вот не лишенный интереса список главнейших научных статей в первых 25-ти томах “Библиотеки”:

1. О мире и его создателе (доводы положительных наук в пользу бытия Божия).
2. Земной шар до потопа (по Кювье).
3. Магнетизм земного шара.
4. Теплота земного шара.
5. Двойные звезды.
6. Галлеева комета.
7. Начало рек и ключей.
8. Причина изменения земной поверхности.
9. Г-жа Соммервиль и ее сочинения.
10. Зодчество насекомых.
11. Чувства и способности рыб.
12. Статистика среднего чело века (по Кетле).
13. Призраки и видения.
14. Германская философия.
15. Философия Кузена.
16. Финансы Англии.
17. Свободная торговля хлебом.

18. Железные дороги.
19. Чахотка и ее лечение.
20. Новая сравнительная наука древностей.
21. Гиббон и Борк.
22. Записки Мирабо.
23. Архитектура, ваяние и живопись Германии.
24. Новые путешествия в Среднюю Азия
25. Скандинавские саги.

Мы перечислили главнейшие статьи. Легко было бы удешевить приведенный список, но можно обойтись и без этого: и так ясно, чего хотел Сенковский. Если он и не верил в науку, то, во всяком случае, признавал ее. Он стремился к популяризации знаний и благодаря настойчивости добился того, что статьи его журнала стали такими ясными и общедоступными, что сами укладывались в голове читателя. Для нас, конечно, нет в этом ничего ни нового, ни особенного; стоит нам раскрыть любой журнал, чтобы напасть на популяризацию биологических, астрономических, социологических истин; но ведь с кого-то же началось это дело? Началось же оно главным образом с “Библиотеки”. Еще раз просмотрев приведенный список, читатель замечает в нем как бы особенное пристрастие к естествознанию. Но на это были свои причины: с одной стороны, личные симпатии Сенковского, с другой, – условия журнального дела. Ведь была же у нас на Руси такая эпоха, когда журналы наполнялись длиннейшими трактатами по вопросам химии и агрономии и волей-неволей должны были забыть о существовании общества, истории и общественных наук.

Популяризация знаний – прекрасное дело, и отметим ее как еще одно достоинство “Библиотеки для чтения”. Но особенно лестно для Сенковского, что эта популяризация была не случайной, а проистекала из идеи, принципа. Часто повторял он свою любимую мысль: “Мы еще ученики перед Европой, и нам надо учиться и учиться”. “На этих словах, – говорит Дружинин, – зиждется главное значение его журнала, значение *популярнейшего и превосходнейшего иностранного обозрения*, какое когда-либо имела русская публика. Уже одна программа “Библиотеки” – программа, вся созданная Сенковским, – в совершенстве показывала, до какой степени редактор нового издания разумел потребности русского читателя. Сенковский был основателем того энциклопедического направления, которого до сих пор неуклонно держатся все наши лучшие журналы и которого они будут держаться до той поры, пока уровень нашего общего образования не сравняется с иностранным”.

Превосходнейшее иностранное обозрение оказывалось, однако, очень

слабым и даже решительно никуда не годным, когда дело касалось русской литературы. Мы видели, какую роль играла всегда в наших журналах литературная критика. Эта роль выработалась исторически. Так как наша общественная жизнь проявлялась прежде всего в литературе, то понятно, почему критика заняла место руководителя нашей общественной жизни.

В отделах критики и литературной летописи в первые годы издания “Библиотеки” почти все статьи написаны Сенковским, хотя не все эти статьи – критические: многие представляют лишь обозрение содержания книг, с выписками из них для образца и с немногими, иногда серьезными, но большею частью шутливыми, юмористическими замечаниями. Литературная летопись посвящена была почти исключительно подобным заметкам; отдел критики всегда был серьезнее. В первые годы существования журнала рецензии летописи писались вообще спокойным тоном, хотя не без саркастических выходок и отступлений. Они-то всего более и нравились публике, ими-то всего более и восхищались.

Тут Сенковский сделал великую ошибку: он послушался публики. Та, по-видимому, решительно не имела ничего против гаерства и балагана, даже требовала того и другого, и “вскоре почти вся литературная летопись превратилась в непрерывную шутку: стали рассматриваться преимущественно такие сочинения, которые представляют наиболее смешных сторон; наконец шутка дошла даже до буффа, и летописец заставляет новые книги плясать перед собою, играть комедию – водевиль и представлять сцены из “Тысячи и одной ночи”... Литературная летопись была как бы отдыхом и гимнастикой для ума, требовавшего перемены занятий, и в то же время жертвою вкусу публики”.

Против гимнастики остроумия и жертвы вкусу публики можно, конечно, возразить очень много.

Хорошую оценку критических дарований Сенковского дал Дружинин. Мы приводим ее как лучшее, что было сказано по этому поводу:

“Осип Иванович никогда не обманывался насчет значения своего журнала и своей критики: требования публики, неслыханный успех его кратких и блистательных рецензий заставляли его заниматься “Литературною летописью” с особенным тщанием; но в годы сильнейшего ее успеха остроумный рецензент не обманывал себя по части ее значения. Сенковский знал лучше всех своих противников, что судьба не создала его критиком в строгом смысле этого слова, знал и то, что лучшие страницы его “Литературной летописи” не содержат в

себе ничего особенно плодотворного для современной ему русской словесности. Он не преувеличивал своей роли как ценителя изящных произведений. Он не силился возвести в какую-нибудь теорию свое гонение на плохих поэтов, свой поход против сих и оных, свои меткие шутки против серобумажных изданий и раздирательной литературы. Читатель требовал остроот и шуток, читатель встречал каждую рецензию Сенковского выражением восторженного одобрения – и Сенковский был не прочь шутить с читателем, иногда даже шутить над читателем”.

Есть одна неумная поговорка, которая утверждает: *la critique est aisée, l'art est difficile*, то есть искусство трудно, но критика – дело легкое. А *искусство* критики? В самом деле, разве критик не должен обладать специальными дарованиями, которые, все равно как художественный талант, встречаются очень редко по скупости нашей матери-природы? Если научная критика требует больших знаний и при этом ясного, острого ума, то критика литературная без чутья, без особенного дара проникновения никак обойтись не может. Наука о прекрасном может облегчить дело критики, и только. Все равно как виртуозу недостаточно одной техники, так недостаточно знаний и критику. Ему нужен вкус, который дается от природы и только развивается, а отнюдь не приобретается образованием. Поэтами – рождаются, рождаются и критиками.

Этого-то вкуса, чутья, проникновения и недоставало прежде всего Сенковскому. Оттого-то целые тома его критических статей ровно ничего не значат перед одной статьей Белинского. Не говорим уже о его литературной летописи. Там

...нападки

На шрифт, виньетки, опечатки,

Намеки тонкие на то,

Чего не ведает никто.

Там разгул остроумия, ничем не сдержанного, там фокусы, вроде того, например, что Сенковский, выписав целую дюжину заглавий различных книг и книжонок, пишет: “Петрушка, мой лакей, возьми все это себе; это для тебя”. Там, наконец, гаерство. Но и от серьезных критических статей Сенковского приходится отступать с некоторым недоумением. Что это значит, когда Кукольник ставится выше Гоголя? Каким это образом может

быть равным Гёте тот же Кукольник? Кукольника мы немного знаем и можем в таком случае только развести руками. Любопытно хоть несколько ознакомиться с критическими взглядами Сенковского: в будущей истории русской критики, они, наверное, найдут себе хотя бы скромное место. В первой же критической статье Сенковского мы встречаем следующие строки:

“Для меня нет образцов в словесности, – восклицал он, – все образец, что превосходно. В нынешнем состоянии литературных учений, когда страшный умственный переворот превратил в кинжал даже тот аршин, которым люди так удобно мерили изящные красоты, подобно атласным лентам, я не вижу возможности другого критического мерил. Беспристрастною критикою называю я то, когда по чистой совести говорю тем, которые хотят меня слушать, какое впечатление лично надо мною произвела данная книга. Но степень моего впечатления не есть правило для других. Критика в наше время сделалась картиною личных ощущений всякого, – всякого одаренного от природы ясным чувством средств и способов, которыми изящное может производить полное и приятное действие над сердцем и воображением человека. О правилах нет и речи. Одно только условие в этом чувстве средств и способов – нравственность.

Вкус – это прихоть беременной женщины, которая есть общество. Следственно, по прочтении критики и спорить не об чем: одно средство – изъяснить, независимо от обнаруженного уже мнения, другое, различное мнение с таким же чистосердечием, но без опровержений, ибо опровергать чужие ощущения ровно столько же смешно, сколько неудобноисполнимо. В ученой критике – другое дело. Там можно доказывать, основываясь на несомненных данных; но в литературной, как скоро я верно и совестливо обнаружил перед вами, без малейшей утайки, все количество пристрастия, какое прочитанная книга внушила мне в свою пользу, влезайте на башню и кричите миром: “Ах, какой беспристрастный критик!..” Я сниму шляпу и поклонюсь”.

Сам Сенковский понимал, что критику прежде всего необходим вкус, однако вкуса-то ему и не доставало. Общественных же вопросов он совершенно не затрагивал.

“Библиотека для чтения” производила фурор. Можно бы было привести по этому поводу немало свидетельств современников, из которых очевидно, что этим журналом интересовались и зачитывались. “Странный успех!” – быть может, воскликнет читатель. Однако смеем думать, что успех вполне заслуженный, по крайней мере, на первых порах.

“Библиотека для чтения”, говорит биограф Сенковского, с первой же



книжки стала во главе русской журналистики, и план ее как нельзя более соответствовал потребностям русской публики, еще недостаточно приготовленной для специальных журналов и серьезных сочинений, но жаждавшей чтения, новостей и легко приобретаемых знаний. Публика требовала чего-нибудь полегче, поинтереснее, позанятнее, публика терпеть не могла думать и задумываться, у нее была жажда познания в форме элементарного любопытства, и даже от статей по химии она требовала, чтобы те были повеселее. Химия химией – и читатель ровно ничего не имел против нее, – но его пугали и формулы, и строго научное изложение. Редактору предстояла великая, трудная и едва ли особенно благодарная работа заставить читателя думать, не показывая, однако, вида, что преследуется столь великая цель, заставить читателя приобретать знания, развлекая его анекдотами и шутками. “Целью журнала, – продолжает тот же биограф, – было знакомить читателя нечувствительно для него самого – посредством перехода от легкого чтения повестей, стихов, романов к предметам более важным – с движением литератур и наук в Европе. Средством к тому избраны занимательность и общедоступность. Все важные открытия и новости в области наук и словесности излагались и обсуживались в “Библиотеке для чтения” так, что даже неподготовленный читатель с удовольствием пробежал ученую статью и незаметно для себя приучался к работе мысли. Надо приготовить способных читателей, выражался Сенковский и подтверждал свою мысль таким соображением: “Где училища не успели еще приготовить большой массы образованных читателей, там может действовать на умножение их журнал, влияние которого медленно, но несомненно”. В это время (1833–1840) Сенковский находился на вершине своей славы. Остроумный барон Брамбеус смешил Петербург, смешил провинцию. За это его хвалили, ему льстили, ему платили громадные деньги. Он занимал великолепный дом, имел много лакеев, чудных лошадей, задавал лукулловские обеды. Обеды эти еще долго оставались в памяти. Тщеславный и надменный Сенковский бросал деньги направо и налево, собирал вокруг себя толпу литературных хамов и без церемоний расправлялся с ними, когда они ему надоедали. Быть может даже, в гордости своей он полагал, что его слава вечна, но жизнь решила иначе.

## ГЛАВА IV

*Характеристика тридцатых годов. – Новые запросы русской интеллигентной мысли. – Немецкий идеализм на русской почве. – “Отечественные записки”. – Падение журнала Сенковского*

Более семи лет подряд “Библиотека для чтения” пользовалась громадным успехом. Несомненно, что она была самым распространенным и наиболее читаемым журналом в России. Особенные симпатии приобрела она среди своих провинциальных подписчиков, имевших полное основание ликовать, что регулярно, в начале каждого месяца, в их руках оказывается толстый прилично изданный том, наполненный разнообразными и прекрасно написанными статьями. Добродушный провинциальный обыватель направления не искал. Да к тому же в большей части русского общества и не было никакого направления, разве одно только: “У нас, слава Богу, все благополучно”. Направление таилось в отдельных, не связанных ничем друг с другом кружках и даже в отдельных личностях. Когда эти кружки и личности выяснили свои стремления, когда определились их неясные думы, то несомненно с их-то стороны успех “Библиотеки” и вызвал первый отпор. С этого-то момента и пошла на убыль как громкая слава Сенковского, так и громадная популярность его журнала.

Интеллигентных требований и интеллигентных запросов, тем более тех требований и тех запросов, которые назревали в русском обществе в бурную эпоху тридцатых годов, “Библиотека” удовлетворить не могла. С тридцатыми годами она еще справлялась кое-как, но когда наступили сороковые, ей пришлось очистить место для тех, кто понял, чего искала и чего хотела лучшая часть интеллигентного общества. Все это будет для нас совершенно ясным, если мы припомним, чем же были тридцатые годы.

Удивительная эпоха, полная противоречий, исканий, метаний из стороны в сторону, полная тихой, настойчивой работы, дерзких взрывов лермонтовской поэзии, криков глубокого отчаяния, страстных попыток найти какое-нибудь успокоение. На этом неопределенном и неясном фоне перед нами вырисовываются такие титанические личности, как Лермонтов и Полежаев, такие вдумчивые, богатые натуры, как И. Киреевский, такие герои веры и упования, как Белинский, – но ничего общего, единого, определенного: вся картина представляет из себя удивительную путаницу. Старое поколение, разочарованное и усталое, сходит со сцены. Старики видят, что молодежь как-то скептически и даже пренебрежительно

начинает относиться к ним; они очевидно не удовлетворяют ее, но не знают, что же, собственно, ей надо. Она и сама не знает этого хорошенько и только беспокойно мечется, как бы в предчувствии чего-то великого, что надо знать, понять, совершить, что мерещится ей в туманном будущем.

“Первое, – говорит Котляревский (см. его работу “М.Ю. Лермонтов”), – что мы должны отметить, говоря о тридцатых годах русской жизни, – это разнообразие и противоречивость во вкусах и взглядах общества. Никогда, быть может, в русском обществе не было такой чересполосицы мнений, такого сплетения самых разнообразных убеждений и стремлений. Сравнивая тридцатые годы с двадцатыми и затем с сороковыми, мы замечаем, что они в полном смысле слова эпоха переходная, не имеющая какого-либо господствующего “направления” в своих мыслях и поступках. Двадцатые годы, равно как и сороковые, имели известную определенную литературную и общественную программу, известный запас установившихся взглядов на вопросы высшего порядка. Сентиментально-оптимистическое мировоззрение двадцатых годов и философское общественно-гуманное сороковых годов были настоящими “течениями” мысли, охватившими в названные годы широкие круги общества. В тридцатых годах мы с такими течениями не встречаемся. Перед нами отдельные очень замкнутые кружки, иногда отдельные личности, все со своими собственными взглядами и вкусами, в большинстве случаев не установившимися. Все показывает нам, что как мысли, так и чувства общества находятся пока еще в брожении, что старые идеалы, какими жило общество, перестали соответствовать его новым потребностям, а эти новые потребности еще недостаточно ясны, чтобы воспитать в обществе новые определенные идеалы. Все общество настроено “романически”, то есть не удовлетворено настоящим и не имеет пока еще ясных видов на будущее. Стремление выбраться из этого тревожного и малоотрадного настроения сказывается очень ясно во всех передовых людях. Старики, чувствуя неприложимость своего прежнего мировоззрения к новому времени, либо со старческим упорством отстаивают свои старые взгляды и вкусы, как поступают, например, классики и сентименталисты, либо совсем перестают думать о настоящем, готовясь к достойной жизни в будущем, как, например, Жуковский; люди помоложе пытаются найти новую формулу житейской философии, которая осмыслила бы их существование и указала им новую дорогу; но они либо впадают в противоречие, как Пушкин, либо в корне подрывают свою собственную творческую силу, как Гоголь, либо, наконец, отдаются пассивной грусти, как Языков и Баратынский.

Есть и такие, которые, как, например, Чаадаев, со злобным

скептицизмом смотря на настоящее, мечтают все-таки о великом духовном призвании своей родины в далеком будущем, молчат и ничего не делают. Другие, как Иван Киреевский, молчат в силу того тяжелого душевного кризиса, той ломки во вкусах и убеждениях, какая в них происходит. Сильнее всех суетится молодежь, не имеющая никаких предрассудков, но зато не имеющая и установившихся убеждений. Эта молодежь жадно набрасывается на все мысли, в которых подмечает для себя что-либо новое, присматривается к событиям и прислушивается к речам на Западе, пытается усвоить себе эти мысли, но в большинстве случаев ловит их на лету и не имеет ни достаточной подготовки, ни времени овладеть ими во всей их широте и самостоятельно развить их дальше”.

Встревоженная и взбудораженная мысль с особенным вниманием и даже с нетерпением следит за тем, что делается на Западе. Оттуда не раз приходили спасительные формулы, оттуда же явились они и в описываемую эпоху. Уже начиная с эпохи преобразований, русские люди всегда были чутки к тому, что делается у их соседей; но никогда эта чуткость не достигала такой напряженности, как в тридцатые и сороковые годы нашего столетия. К сожалению, и Запад не представлял из себя в это время ничего единого, напротив того, он сам бродил и бурлил не хуже, чем это делалось в России, сам искал примирительных точек зрения и какого-нибудь выхода из противоречий жизни. Крупнейшими течениями западной мысли в это время можно признать два:

- 1) идеалистическое, господствовавшее в Германии, и
- 2) демократическое, над разработкой которого трудилась печать французов. Остановимся несколько на обоих, так как и то и другое одинаково могущественно повлияли на русское общество.

Немецкий идеализм искал внутреннего смысла жизни. После учений Фихте и Шеллинга как бы завершением грандиозных усилий человеческого ума найти общий смысл, отыскать таинственную сущность всего, подняться на ту высоту, с которой одинаково ясны, близки и понятны человеку жизнь морских кораллов, небесных звезд и его собственная жизнь, явилась философия Гегеля, властвовавшая над лучшими умами Европы. Своей полнотой, своей категоричностью система Гегеля затмила все предшествующие. Она сама смотрела на себя как на венец философских усилий и на окончательный итог деятельности разума. Исходя из того же пункта, что и Шеллинг, то есть утверждая, что бытие и мышление тождественны, Гегель на вопрос “кто же мыслит?” дал совершенно оригинальный ответ. Мыслят сами понятия, без всякого прямого или косвенного участия с нашей стороны. Все есть понятие, самый

мир – это совокупность, внутреннее единство всех понятий, их *Einheit*, то есть Абсолют. Мышление понятий есть их *диалектическое самодвижение*. Допустим, например, что надо было бы объяснить какой-нибудь земной или исторический переворот. Мы бы обратились к воде и огню, проследили их влияние на горные и иные породы, исследовали новые химические соединения, появившиеся на месте старых, определили отношение совершившегося к органической жизни, словом, опирались бы на опыт, к которому и обращались бы постоянно как к своему единственному и лучшему руководителю. Не так смотрел на дело Гегель. Всякое изменение, все равно какое: астрономическое, геологическое или историческое, – было для него *изменением понятия*. Это покажется нам естественным, если мы припомним его исходный пункт и скажем вместе с ним: природа (и человечество вкупе с ней) есть *единый мыслящий дух*, Абсолют или абсолютный разум, который не делает ничего другого – только *мыслит*. Мыслит невольно, независимо от самого себя и своего желания, мыслит так же необходимо, как необходимо движется по своей орбите небесное тело. И посредством этой мысли, сначала бесформенной, неясной, малоопределенной, стремится к роковой конечной цели – познанию самого себя. Но эта цель достигается не сразу, а путем долгого логического процесса, путем перехода из одного диалектического момента в другой. Так как природа есть понятие, то всякое изменение – изменение в понятии. Не надо искать воды и огня, не надо следить за их влиянием на различные породы, надо только узнать, каков *логический* путь понятия, и в таком случае история природы и человечества станет ясной сама по себе. Если можно так выразиться, для нас, эмпириков, понятие есть явление нами же выработанное, для Гегеля – само по себе существующее. Мы исследуем предмет, узнаем все его признаки и затем уже составляем понятие. Но отделите это понятие от самого себя, дайте ему самостоятельную жизнь, станьте на ту точку зрения, что мир, человечество, история, вы сами – все это понятие, развивающееся по неизбежному, роковому закону Логики, и вы получите философию Гегеля. Итак, что же такое вещь в себе? Разум. Что такое изменения в природе? Это изменения в диалектической работе разума. Что такое исторические перевороты, эпохи? Это стадии, через которые проходит абсолютная мысль, стремясь к самопознанию.

Отметим теперь особенности этого идеализма.

*Во-первых*, он презирал рассудок и опыт. Иначе и быть не могло. Рассудок (*Verstand*) – что может он дать нам? Рассудку доступна грубая, эмпирическая (опытная) реальность; но доступна ли ему тайна – то общее единство жизни, которое составляет реальность сверхчувственную? Где, в

чем духовная сущность мира? Доверьтесь рассудку и посмотрите, какую пеструю, лишенную внутренней связи картину нарисует он вам. Тут не только можно, но и должно растеряться. Он перечислит и, пожалуй, расклассифицирует вам десятки и сотни тысяч отдельных предметов, разделит их на классы и виды, подразделит на подвиды и классы; но проникнет ли он далее, за видимую и изменчивую оболочку вселенной, отыщет ли он общую идею, сущность, смысл жизни?... Никогда. Он может доставить много практических удобств, но разве в этом дело? Где та железная цепь мироздания, в которой и сам человек, и всякий предмет являлись бы необходимыми звеньями, плотно скованными с предыдущими и последующими? Где та высота, поднявшись на которую можно было бы единым взглядом, исполненным восторга (Гегель) или отвращения (Шопенгауэр), окинуть мироздание? Не рассудок, а разум возводит нас на эту высоту.

*Во-вторых*, идеалистическая философия возвышала *духовную сторону* нашей природы. Эта духовность была основным ее догматом. Для Фихте весь мир есть представление мыслящего “я”, для Гегеля самой драгоценной формулой была та, что “разум управляет миром и нет ничего, кроме деятельности разума”. Хорошо. Но каким же путем человек может вступить в общий ход мироздания, как может он принять участие в таинственном процессе, совершающемся перед его глазами? Только при помощи мысли, при помощи деятельности своего *собственного разума*, который есть частичка и лучшее воплощение разума абсолютного, мировой души, Абсолюта. С точки зрения Гегеля это было особенно ясно. Вы хотите быть счастливым? Вступите в мировой процесс, но вступите в него сознательно, через изучение философии, и созерцайте жизнь Всемирного духа, которая отражается и в вас. Пусть мысль, что вы частица бытия, воплощение единой, вечной, разумной идеи, наполняет ваше сердце гордостью, пусть стройная картина, рисуемая идеалистической философией, укажет вам на связь вашего личного крохотного бытия с бытием вселенной – и вы поймете наконец, что все существует лишь потому, что оно необходимо, что ничего другого не может и быть. Итак, человеческий рассудок и человеческая мысль – частицы абсолютного разума и абсолютной мысли, сам человек – атом, но прекраснейший атом вселенной, и своей красотой он обязан именно своему разуму, своей духовности.

*В-третьих*, идеалистическая философия, возвышая духовную природу человека, однако ровно ничего не говорила ему *как личности*. Это тоже одно из ее любопытнейших Stand' Punkt'ob, то есть исходных положений. У Фихте единственная деятельная роль в жизни принадлежит мыслящему

“я”, но это “я” – не мы, не ваше, не человеческое даже, это всемирное и абсолютное “я”. Оно создает мир, наполняя его своими представлениями, оно одно только и живет в истинном смысле этого слова. Для Гегеля *все* есть понятие, одаренное силой мышления и диалектического саморазвития. Рассматривая его философию в ее целом, мы видим, что он совершенно игнорирует личное творческое начало в жизни. Все нужно, все полезно, все хорошо не потому что оно служит человеческому счастью, а потому, что оно служит самопознанию разума. Люди – средство; разум пользуется ими для своих целей и хитро эксплуатирует в свою пользу их страдания. Перед этим разумом в начале его исторического поприща открывается неизвестная таинственная страна – его собственное “я”, – которую он во что бы то ни стало должен изучить и исследовать. Но сам он в эту страну не идет, а отправляет туда людей, целые племена и народы. Исследовать таинственную область – дело нелегкое и опасное, это своего рода меотийское болото, где ничего не стоит затеряться среди лесов, непроходимых топей, трясин и так далее. Хитрый разум как будто знает это и употребляет на пользу себе человеческие страсти. Он возбуждает честолюбие, стремление к славе, все другие чувства, лишь бы побудить смертных к трудному и опасному путешествию. Какое ему дело до того, почему идет человек в эту опасную страну: из-за славы или от отчаяния? Важно одно – достижение цели, важно, чтобы любым путем смелые пионеры принесли весть, а перенесенные ими трудности – это исключительно их собственные проблемы. Не беда, если даже многие погибнут, – эти жертвы нужны для высшей цели. Человеческий смысл и слезы, радость и отчаяние, муки и счастье – все это (как и деятельность природы) простые стадии мысли Абсолюта. Абсолют мыслит – и в этом вся жизнь.

И подобной философией русские люди увлекались до самозабвения. Гегель был объявлен царем мысли. К нему, как к новому дельфийскому оракулу, обращались все мыслящие и чувствующие люди за решением всех своих сомнений и вопрошали его о том, “что есть истина”. К книге Гегеля подходили “со страхом и верою”, как выразился Огарев, и готовы были стоять перед нею на коленях, как говорил Грановский. “Есть вопросы, – писал последний, – на которые человек не может дать удовлетворительного ответа. Их не решает Гегель, но все, что доступно теперь знанию человека, и самое знание у него чудесно объяснено”. Изучение философии Шеллинга и Гегеля превратилось в настоящий культ. Философские системы не только передумывались, но и переживались. Ничтожные книжонки о Гегеле исправно “выписывались и зачитывались до дыр, до пятен в несколько

дней”. Увлечение доходило до смешного: “всякое простое чувство выводилось в категорию”, все определялось “по субстанциям”, гуляли не для того, чтобы освежиться и отдохнуть, а чтобы “отдаться пантеистическому чувству единства с космосом”. (См. Мих. Бор...н. “Происхождение славянофильства”).

Чего же искали русские люди в системах немецкого идеализма? Двух вещей – примирения и света. То и другое было необходимо. Обиженный жизнью, окружающим формализмом, жестокостью человек искал инстинктивно и с отчаянием какого-нибудь примирения с действительностью. Слишком уж резко бросалось ему в глаза противоречие между чувством и фактом жизни, слишком ясно ощущал он свое жизненное одиночество. В философии Шеллинга он сливался с бытием, так как и природа есть видимый дух, а дух – невидимая природа; философия Гегеля – грандиозная попытка объединить все факты жизни посредством одной общей идеи – давала ему, по-видимому, возможность не какого-нибудь, а совсем хорошего, совсем разумного примирения с действительностью. В ней он находил программу для своей деятельности, она указывала ему на великое содержание жизни, успокаивала его тревожное личное чувство. Своей строгой научностью и удивительной логикой она подчиняла его мысль, своим грандиозным размахом она поражала его воображение. Осматриваясь вокруг, он видел пестрое сплетение случайностей, господство насилия и грубого произвола; его мысль, едва пробудившаяся после векового сна предков, настойчиво спрашивала себя “зачем и почему?” – и вдруг все эти “зачем и почему” оказались выясненными как нельзя лучше в глубокомысленных томах гегелевской философии. Что удивительного, если он с жадностью и со страстью набросился на них, становился перед ними на колени и с детским простодушием полагал, что все сказанное Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем есть абсолютная истина? Ему надо было объяснить, что такое он сам, какая связь его с обществом и природой, и такое объяснение давалось. Его мысль становилась рабом строгой и вышколенной мысли Гегеля, его чувство смирялось перед картиной мироздания, в которой он – одно маленькое звено, его воображение не могло не увлечься величественной жизнью Абсолютного Разума.

“Таким образом, – продолжает г-н Котляревский, – пытливая, тревожная и неудовлетворенная, одна часть молодежи на время отказывается от всякой обыденной и правильной служебной работы и не хочет выступить деятелем, пока не выработает в себе определенного мировоззрения, систематичность которого помогла бы ей осмыслить ее



активную деятельность. Она действительно находит спасительную пристань в отвлеченных системах Запада, которые поддерживают в ней ее идеализм, успокаивают ее, дают оптимистическое направление ее настроению и в конце концов приводят ее к примирению с жизнью на почве активной борьбы за известное количество установившихся идеалов”.

Как бы то ни было, в этом увлечении немецким идеализмом видны большие запросы русской интеллигенции. Она, очевидно, искала той истинной полноты жизни, которая невозможна без философского, вполне ясного и определенного, мирозерцания. И одно время она почувствовала себя счастливой. Заковавшись в броню немецких систем, штудирова Гегеля и Шеллинга, проводя дни и ночи за чтением их не совсем-то удобоваримых произведений, она ощущала и полноту жизни, и радостное сознание, что все вокруг нее ясно и понятно. Was ist – ist vernünftig (существующее разумно) – такова была излюбленная формула, вокруг которой концентрировались все интересы мысли и чувства. Ее держались немало время даже такие горячие люди, как Белинский, хотя к ним-то она уж совсем не подходила. Что требовалось от истого гегельянца? Развить все сокровища своей души для свободного самонаслаждения духом, стремиться к совершенству, взобраться на верхнюю ступень лестницы развития и созерцать величественную красоту бытия. А общество, а жертвы истории, а страдания миллионов? “Нечего, – говорит Гегель, – проливать слезы и жаловаться, что хорошим и нравственным людям часто и даже большею частью плохо живется, тогда как дурным и злым – хорошо”. Это необходимо, мир таков, каким он должен быть: Разум прекрасно пользуется для своих целей как страданиями, так и радостями людей, и не все ли равно, будут ли то страдания или радости, раз Абсолют достиг своей цели – самопознания.

В том факте, что лучшие представители молодого и, в сущности, еще мало жившего народа страстно набрасываются на систему, которая, как у Гегеля, провозглашает завершением круговорот мира и гордо говорит, что дальше некуда, да и незачем, идти, есть что-то трогательное. Молодое, еще не жившее общество, полное неясных надежд и неосознанных сил, как бы хочет отказаться от деятельности и погрузиться в одно созерцание. Но очевидно, что так не могло продолжаться долго. Реакция против безусловного господства немецкого идеализма должна была начаться, и действительно она скоро началась, только не с одной стороны, а сразу с нескольких.

Во-первых, учение Шеллинга и Гегеля о народностях заставило русских людей призадуматься над вопросом: зачем же существуют они

сами, зачем и к чему эта многомиллионная Россия, представляющая из себя во всяком случае очень внушительное образование? По теории Шеллинга, “каждая народность обязана выполнить какую-нибудь самостоятельную миссию, осуществить какую-нибудь идею во всемирно-исторической жизни человечества. В зависимости от того, мелкую или крупную идею безусловного разума выполнит народ, он получает свое значение во всемирной истории. Если народ внесет крупный вклад в сокровищницу общечеловеческой цивилизации, он делается первенствующим, всемирно-историческим, в противном случае он теряет свое значение, находится в положении второстепенных народов и осуждается на постоянное духовное рабство у других народов”. Какова же судьба России в ряду других народов человечества? К ней, как и ко всему славянскому миру, относились презрительно. Гегель считал германцев избранным народом, а гегельянцы твердо веровали, что “один германец выработал в себе человека, и другие народы должны сперва сделать из себя германца, чтобы научиться от него быть человеком”. Хорошо, но обидно. Прибавьте к вышесказанному еще следующие слова самого Гегеля: “Славяне должны быть выпущены в нашем изложении, ибо они представляют из себя нечто среднее между европейским и азиатским духом, и потому их влияние на постепенное развитие духа не было достаточно деятельно и важно, несмотря на то, что их история разнообразно переплетается с историей Европы и сильно в нее вторгается”. Еще лучше, яснее, но еще обиднее.

Реакция против такого высокомерия должна была начаться, тем более что немцы доходили до того, что делили человечество на два разряда: *die Menschen und die Russen* – “люди” и “русские”. Учение о народности было первым стимулом к борьбе с безусловным господством немецкого идеализма. (См. Мих. Бор...н. “Происхождение славянофильства”).

На сцену выступили славянофилы.

*Во-вторых*, реакция против Гегеля и Шеллинга, в особенности против первого, шла со стороны сердца. В этом виновато учение о личности, которую Гегель низводил до нуля, не желая знать ее радостей и страданий и презирая вопросы о ее счастье и несчастье. Белинский энергично потребовал, чтобы ему отдали отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II. Он не хотел счастья и даром, если не будет “спокоен насчет каждого из своих собратий по крови”. Страдание есть зло, и не должно быть жертв случайностей и истории. Смелая мысль горячего любящего сердца не мирилась с пантеистическим равнодушием гегельянства.

Как бы на помощь этой точке зрения явились различные учения из

Франции. Их принято называть вредными, что же, не в названии дело, – присвоим и мы им этот эпитет. Итак, появились “вредные” учения.

В сороковых годах начинается уже чувствоваться влияние Жорж Санд, П. Леру, сенсимонистов вообще. Прекрасно говорит об этом Достоевский:

“Появление Жорж Санд в литературе совпадает с годами моей первой юности, и я очень рад теперь (1876 год), что это так уже давно было, потому что теперь, с лишком тридцать лет спустя, можно говорить почти вполне откровенно. Надо заметить, что тогда только это и было позволено, т. е. романы; остальное все – чуть не всякая мысль, особенно из Франции, – было строжайше запрещено. О, конечно, весьма часто смотреть не умели, да и откуда бы могли научиться: и Меттерних не умел смотреть, не то что наши подражатели. А потому и проскакивали “ужасные вещи”, например, проскочил весь Белинский... Но романы все-таки дозволялись, и сначала, и в середине, и даже в самом конце, и вот тут-то, и именно на Жорж Санд, сберегатели дали тогда большого маха... Надо заметить и то, что у нас, несмотря ни на каких Магницких и Липранди, еще с прошлого столетия всегда тотчас же становилось известным о всяком интеллектуальном движении в Европе и тотчас же из высших слоев нашей интеллигенции передавалось и массе хотя чуть-чуть интересующихся и мыслящих людей. Точь-в-точь то же произошло и с европейским движением тридцатых годов. Об этом огромном движении европейских литератур, с самого начала тридцатых годов, у нас весьма скоро получилось понятие. Были уже известны имена многих новых явившихся ораторов, историков, трибунов, профессоров. Даже, хоть отчасти, хоть чуть-чуть, известно стало и то, куда клонит все это движение. И вот особенно страстно это движение проявилось в искусстве – в романе, а главнейшее – у Жорж Санд. Правда, о Жорж Санд Сенковский и Булгарин предостерегали публику еще до появления ее романов на русском языке. Особенно пугали русских дам тем, что она ходит в панталонах, хотели испугать развратом, сделать ее смешной. Сенковский, сам же собиравшийся переводить Жорж Санд в своем журнале “Библиотека для чтения”, начал называть ее печатно г-жой Егором Зандом и, кажется, серьезно остался доволен своим остроумием. Впоследствии, в 1848 году, Булгарин печатал об ней

в “Северной пчеле”, что она ежедневно пьянствует с Пьером Леру у заставы и участвует в афинских вечерах, в министерстве внутренних дел, у разбойника министра внутренних дел Ледрю-Роллена. Я это сам читал и очень хорошо помню. Но тогда, в 1848 году, Жорж Санд была у нас уже известна почти всей читающей публике, и Булгарину никто не поверил... Мне было, я думаю, лет шестнадцать, когда я прочел в первый раз ее повесть “Ускок” – одно из прелестнейших первоначальных ее произведений; я помню, я был потом в лихорадке всю ночь... Жорж Санд не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувственников (если только позволено выразиться такою кудрявою фразою) более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижение идеалов которого она бодро и великодушно верила всю жизнь и именно потому, что сама, в душе своей, способна была воздвигнуть идеал. Сохранение этой веры до конца обыкновенно составляет удел всех высоких душ, всех истинных человеколюбцев... Она основывала свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно (даже до бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою – в каждом своем произведении и тем и признавала ее свободу. Жорж Санд верила в будущее человечества, верила в грядущее счастье, и для многих русских людей сороковых годов ее романы были великолепной демократической школой”.

Читатель, быть может, недоумевает, зачем говорили мы о Гегеле и Шеллинге, Леру и Жорж Санд. Однако мы не делали ничего другого, как только рассказывали историю падения журнала Сенковского. Ведь, в сущности, как бы ни относились мы к немецкому идеализму, надо согласиться, что он вышколил русскую мысль, впустил ее в самый круговорот интеллигентной жизни Запада и приучил ее к таким запросам, которые раньше не мерещились ей и во сне. Само увлечение этим идеализмом – увлечение подчас наивное, детское – все же говорит нам о серьезной работе, происходившей в лучшей части русского общества, а реакция против Шеллинга и Гегеля свидетельствует о еще более интересном обстоятельстве. Русская мысль демократизировалась – это факт громадный и несомненный. Демократизировалась в славянофильстве,

искавшем сближения с народом и веровавшем в эту темную и запуганную массу, демократизировалась в западничестве, быстро перешедшем на точку зрения Леру, Жорж Санд и пр. Что же при таком ходе дела оставалось Сенковскому и его журналу? Приходилось отступать, сохраняя по возможности честь и славу, к сожалению, только по возможности.

“Библиотеку для чтения” “убили” “Отечественные записки”. Это совершенно справедливо; но не то интересно; интересно, почему убили? А это уж, кажется, яснее самого дня.

“Отечественные записки”, с того времени, как начал работать в них Белинский, – первый русский журнал, в котором мы совершенно отчетливо различаем и идею, и направление. В неясной форме то и другое можно различить и в “Московском телеграфе”, но именно в неясной.

Мы уже видели, что русскому обществу суждено было демократизироваться. Но рядом с этим происходила еще более удивительная и глубокая перемена. Проблуждав долгие годы по дебрям немецкого идеализма, русский человек, выйдя из них, сознал себя членом общества, не просто подданным государства, как было раньше, а именно членом общества. Он вдруг увидел, что у него есть обязанность, нравственный даже долг содействовать счастью и благополучию той среды, в которой он живет. Его убеждения, его литературные взгляды радикально изменились. Там, где прежде он искал одного наслаждения и отдыха, где прежде он молился одной красоте, он стал искать идеи и общественные тенденции.

Ничего этого не давал ему Сенковский. Напротив, с каким-то ожесточением нападал он на всякую мысль с общественным содержанием. К тому же приелись и его шуточки. Наоборот, “Отечественные записки”, публикуя богатый и интересный материал, благодаря статьям Белинского удовлетворяли умственные и нравственные запросы современников. Вопрос об общественной роли личности был главным их вопросом. А этот вопрос был поставлен временем, которое и обеспечивало победу тому, кто верно поймет его потребности. Для ясности сравните на минуту Сенковского с Белинским. Белинский – сама вера, само упование. Если он грешил чем, то скорее излишеством веры, особенно в молодые годы, чем недостатком ее. Героическая, страстная вера в добро, красоту и истину, нетерпеливое ожидание их воцарения на земле – вот портрет нашего великого критика. А Сенковский? Его бездушный холодный смех, его остроумие, привязанное к фокусам, к чисто внешней ловкости, может вывести из себя каждого. Правда, он признавал просвещение и весь был на стороне культуры, но холодный себялюбивый скептицизм ни на минуту не

покидал его. Презируя современников, презируя общество, среди которого он жил, он без стеснения третировал их. “Третировал”, говорю я, и не могу подобрать лучшего слова. Что же означает иначе насмешка, внезапно прерывающая деловое рассуждение, к чему сотни и тысячи дерзких выходок в литературной летописи? Не то чтобы Сенковский недостаточно серьезно занимался своим делом; он просто недостаточно веровал в него. Никогда не захватывало оно целиком его души; он как будто шутил, как будто с презрением бросал многочисленной публике и многочисленной толпе своих поклонников богатые куски от своей умственной трапезы. Он забавлялся их недоумением, он любил возбудить в них интерес, расшевелить их любопытство, а потом поставить многоточие в том или другом виде, точно говоря: “Что хочу, то с вами и делаю”.

Публика пресытилась его шутками, остротами, дерзостью. Ей надоело, что Сенковский пишет ради писания и острит ради остроты. К тому же он очевидно уставал. Тяжелая карьера журналиста расстроила его здоровье, надорвала его силы. По старой памяти он продолжал смеяться, но это уже старческий, деланный, никому не нужный смех...

## ГЛАВА V

### *Семейная жизнь Сенковского. – Воспоминания Ахматовой. – Надорванные силы. – Последняя вспышка таланта. – Смерть*

Мы так много говорили о Сенковском как журналисте, что теперь не грех будет посвятить маленькую главу его семейной жизни. Мы бы не без удовольствия посвятили и большую, но, к сожалению, у нас нет для этого никаких материалов. Правда, вторая супруга Сенковского, Адель Александровна, написала о муже целый том воспоминаний; но воспоминания эти настолько “дамские”, что, несмотря на самое искреннее желание, было бы очень опасно положиться на них. Тем более что из других источников мы знаем, что Адель Александровна была дама очень капризная и, не говоря уже о всем дамам свойственном стремлении рассуждать о человеке по правилу “не по хорошу мил, а по милу хорош”, постоянно восторгалась своим мужем, причем так искренне, что от чистого сердца считала его самым великим человеком своего времени. Согласитесь, что, зная все это, очень трудно верить воспоминаниям Адели Александровны.

Есть у нас о Сенковском еще и другие, тоже дамские, воспоминания, принадлежащие Е. Ахматовой. К сожалению, и эти похожи на панегирик. Но все же г-же Ахматовой можно доверять побольше. Относясь скептически к панегирику, мы, на основании других мест и кое-каких фактов, можем восстановить образ Сенковского как человека. Станный человек, малообщительный, малодоступный, проникнутый неверием и горделивым презрением ко всему, – неутомимый ум и несколько “фантастическое” сердце, настойчиво ищущее грез и мечтаний среди ясно понимаемой действительности.

Сами отношения Сенковского с Ахматовой очень любопытны. Дело было так: Е.А. Ахматова, молоденькая провинциальная девушка, жившая в Астрахани, написала как-то письмо к Сенковскому с просьбою дать ей переводную работу и в виде образчика приложила уже переведенный роман или повесть. Письмо, надо полагать, было милое и наивное, одно из тех писем, которые могут писать провинциальные девушки к знаменитым столичным деятелям. В нем были, по всей вероятности, и томление, и искание, и простота, и откровенность. Любопытная вещь – Сенковский сразу увлекся, почти влюбился в эту неизвестную ему авторшу письма, – и какой поэзией и вместе с тем какой тоской веет от его ответов Е.А.

Ахматовой. Сухой, деловитый человек, сатирик и скептик вдруг обрел в глубине души что-то “романтическое”. От письма на него будто пахнуло чистой струей деревенской жизни, свежим воздухом, его фантазия увлеклась образом где-то далеко-далеко живущей девушки, и сколько откровенности и задушевности вложил он в свою переписку с ней.

Впоследствии Е. Ахматова приехала в Петербург, у Сенковских она бывала каждый день, так что их жизнь была известна ей хорошо. Правда, она застала уже Сенковского в период упадка его славы и богатства. Давно прекратились лукулловские обеды, жизнь без расчета, равнодушное бросание тысяч направо и налево, но все же Сенковский еще держался.

Приведем кое-какие отрывки из воспоминаний Ахматовой, особенно те, которые относятся к семейной жизни Сенковских.

“Начать с того, что Адель Александровна никогда не знала самой важной тайны в жизни мужа, а именно, что он женился на ней из любви к другой. Он любил не Адель Александровну, а ее подругу, которая, зная любовь Адели Александровны к нему и сама не любя его, пожелала этого брака, чтобы составить счастье Адели Александровны, с которой была очень дружна. Осип Иванович не только исполнил желание любимой женщины, но дал ей слово, что Адель Александровна будет считать себя самою счастливою на свете женою. Этому обещанию он никогда не изменял.

Адель Александровна унесла с собою в могилу уверенность, что не только счастливее ее не было жены на свете, но что она и любима была так, как никто. Раз взяв на себя роль обожающего свою жену мужа, Осип Иванович не имел настолько твердости характера, чтобы сбросить с себя эту роль, когда впоследствии она пришлась для него слишком тяжелой.

Первое время он увлекся ею, потому что Адель Александровна была страстно влюблена в него и умела льстить его тщеславию, восхищаясь им; но когда та, которая пожелала этого брака, вскоре умерла, Осип Иванович сам опасно занемог и чуть не умер: так велика была его привязанность к женщине, которой он необдуманно принес жертву, испортившую его жизнь. Отсюда начинается его лихорадочная деятельность по устройству разных квартир, дач и проч., о чем говорит его жена в своих “Воспоминаниях”. Он просто тяготился домашнею жизнью и желал как можно менее времени проводить со своей женою, но, исполняя данное слово, тешил ее всячески, изобретая всякие развлечения, что она принимала за любовь.

Будь у Адели Александровны другой характер и другой склад ума, она не только приобрела бы любовь мужа, но и его литературная деятельность



приняла бы иной вид. Но Адель Александровна, дочь банкира Ралля, известного своим гостеприимством к приезжавшим из чужих краев артистам, которые даже жили в его доме и на его счет, была иностранка по своему воспитанию и по складу своего ума. Русскою литературою она совсем не интересовалась, а когда, уже в пожилых летах, вздумала писать повести, то писала их на французском языке. Главною ее страстью была музыка, и в доме Осипа Ивановича музыка, а не литература, играла главную роль.

Осип Иванович был уступчив, мягок и податлив, и через это Адель Александровна привыкла преимущественно думать о себе. Она не только не скрывала этого, она этим гордилась и на основании непрерывных угождений мужа считала себя вправе так поступать.

Сойдясь с Сенковскими коротко и видя, как безжалостно приносится в жертву спокойствие Осипа Ивановича из-за пустых прихотей и капризов, признаюсь, я осуждала его в душе, приписывая его несчастную семейную жизнь, раздираемую запальчивыми придирками из-за разного вздора, непростительной слабости с его стороны; но потом я удостоверилась, что бывают такие характеры, с которыми поделаться ничего нельзя. Адель Александровна забрала себе в голову нелепое убеждение, положительно мешавшее Осипу Ивановичу заниматься настоящим делом, что у ее мужа нет большего счастья, как все терпеть, все переносить, только бы ей было хорошо.

Он помнил, что она была дочь богатого банкира, привыкла к роскоши; и хотя она не получила от отца приданого, потому что барон Ралль уже разорился, когда Адель Александровна выходила замуж, Осип Иванович исполнял ее малейшие прихоти, не жалея для этого ни денег, ни стараний, ни забот.

Как он мог думать о сближении с литераторами, когда его жена, перед которою все преклонялось в доме, начиная с него самого, была исключительно настроена на музыкальный лад. Она ровно ничего не понимала в русской литературе, не читала ничего по-русски, кроме “Библиотеки для чтения” и сочинений своего мужа, и безусловно восхищалась тем и другим. Будь на ее месте женщина с таким же умом и с таким влиянием на мужа, но с меньшим тщеславием и из русского семейства, “Библиотеку для чтения” не постигла бы такая участь и Осип Иванович имел бы круг преданных ему друзей. Она сама хвалилась мне, что Осип Иванович без ее разрешения не может никого пригласить к себе и что когда на дачу к ним летом должен был приехать знаменитый виолончелист Серве, приглашенный по ее желанию, она, встав в то утро не

в духе, объявила мужу, что если Серве приедет, то она выгонит его. Опасаясь скандала, потому что Адель Александровна была вполне способна сдержать свое слово, Осип Иванович должен был чуть не на коленях упрашивать ее.

Для человека, который не хочет разойтись с женой, а напротив – заботится о ее счастье, ничего более не оставалось, как потакать ей во всем. Имея дело с таким необузданным характером, не стеснявшим себя ни в чем, Осип Иванович мог принимать у себя только тех, кого хотела принять его жена, да и то, как видно, не всегда. Мог ли он думать о сближении с литераторами, когда в русской литературе одни его сочинения интересовали его жену? Она спохватилась, когда “Библиотека для чтения” пришла в упадок, но было уже поздно, и ее усилия ни к чему не привели”.

Одинаково любя и музыку, и литературу, Осип Иванович, в угоду жене, окружил себя музыкантами, изобретал инструменты, занимаясь литературой как дилетант. Даже отношение Адели Александровны ко всему, что писал Осип Иванович, по-моему, только сбивало его с толку, потому что, не щадя ни в чем спокойствия своего мужа, не пожертвовав для него никогда ни малейшею своею прихотью, и не только своею, но и своих музыкальных друзей, в угоду которым удобства Осина Ивановича как хозяина дома считались ни во что, Адель Александровна постоянно льстила его самолюбию, восхищалась каждою его строчкою и пела ему восторженные похвалы. Ей казалось, что ее муж – первый гений на свете, а она – его обожаемая жена.

Но особенно трудно стало Сенковскому, когда Адель Александровна восчувствовала страсть к писанию романов и повестей. Не угодить ей в этом случае было никак невозможно. Первая повесть супруги была поднесена Осипу Ивановичу в качестве сюрприза, и волей-неволей пришлось напечатать ее. Однако печатать в том виде, как она была написана, было нельзя. Сенковский переделал ее всю. То же самое повторялось постоянно. Получив листки от Адели Александровны, Сенковский аккуратно вычеркивал каждую строчку от первой до последней и вместо вычеркнутого писал свое собственное. Адель Александровна приходила в восторг и только удивлялась, как это Осип Иванович так хорошо угадал именно то, что она хотела сказать.

Однако “Библиотека для чтения” продолжала сдавать позиции, одновременно ухудшалось и здоровье Сенковского. Ему пришлось изменить образ жизни. В 1846 году он, по совету врачей, провел четыре месяца за границей, в 1847 году уезжал на лето в Москву. Работать по-прежнему он уже не мог, да и нельзя было работать по-прежнему, так как

обстоятельства со дня на день становились суровее и беспощаднее.

“То время, – вспоминает Ахматова, – как я принимала деятельное участие в “Библиотеке для чтения”, с конца 1848 года до конца 1851 года, было самое тяжелое в цензурном отношении. Невозможно себе представить всех придирок и притеснений, которые выносила тогдашняя журналистика. Было много и смешного. Осип Иванович перевел из одного английского журнала небольшой рассказ какого-то путешественника, который, спасаясь от медведя в американском лесу, взлез на дерево и вдруг очутился лицом к лицу с большою обезьяною с палкой. Статью эту цензор не пропустил. Осип Иванович поехал сам узнать причину. Оказалось, что статья эта была принята за сочинение Осипа Ивановича; дерево, путешественник и медведь, по мнению цензора, изображали Австрию, Венгрию и Россию, а большая обезьяна с палкой – такое лицо, которое цензор даже и назвать не смел.

Осип Иванович должен был представить в цензурный комитет оригинал переведенной статьи – и тогда она была дозволена.

Не могу не рассказать при этом забавный случай с одною повестью в “С.-Петербургских ведомостях”. Я не помню теперь ее содержания, но речь шла о Руссо и Дюбари. Можно себе представить ужас г. Очкина, издававшего тогда “С.-Петербургские ведомости”, когда цензор приделал к повести свой собственный конец – обвинял Руссо с Дюбари. “Нравственность этого требует, уж очень обращение было вольно”, – пояснял он.

Разумеется, повесть не была помещена.

Это напоминает мне другой подобный случай с какою-то комедией или водевилем, где за одною вдовою волочился какой-то ловелас. Цензор заставил сказать его “в сторону”, то есть обращаясь к зрителям, во время нежных объяснений с вдовой: “А я все-таки намерен на ней жениться”.

В “Путешествии в Иерусалим”, не помню чьем, автор заметил, что смоковницы возле города тощи и имеют жалкий вид. Цензор зачеркнул эти слова и написал сбоку: “А может быть под одним из этих деревьев отдыхал Спаситель”.

Но к цензуре еще было не привыкать-стать. В 1848 году Сенковский захворал холерой, и эта болезнь окончательно подточила его и так уже расстроенное здоровье. Он почти совершенно оставил “Библиотеку для чтения” и даже стал равнодушно относиться к когда-то излюбленному своему детищу. Редакцию пришлось передать в другие руки. Больной, изможденный, утерев все силы и здоровье, Сенковский с этого времени не живет уже, а только влачит существование. Он надорвался в журнальной

работе, он слишком самоуверенно смотрел вперед. И теперь, как прежде, он был один. Одиночество погубило его журнал, одиночество отравило последние годы его жизни. Страдая от обязательного безделья, он старался выдумать себе какую-нибудь заботу, изобретал музыкальные инструменты, занимался фотографией, выдумывал какую-то особенную мебель. Но это – внешность; внутри все больше назревала тяжелая мысль о даром потраченной жизни, о даром потраченных силах. “Что останется после меня?” – спрашивал он и с ужасом отвечал сам себе: “Ничего!..”

Ненадолго в конце жизни еще раз вспыхнул его талант. В “Сыне отечества” с 1856 года стали появляться его фельетоны с подписью Брамбеус-Redivivus – оживший Брамбеус. Веселые, остроумные, бойкие рассуждения обо всем, к сожалению, очень неглубокие. Их писал умирающий. Умирало тело, дух по-прежнему беспокойно метался.

Можно представить себе мое удивление, – продолжает Ахматова, – когда Осип Иванович, больной и слабый, но в тот день чувствовавший себя лучше, поручил мне съездить к А.А. Краевскому и предложить ему издавать вместе с ним большую политическую газету. Я не верила ушам. Я помнила, как “Отечественные записки” преследовали не только “Библиотеку для чтения”, но и самого Осипа Ивановича, и сказала ему прямо, что не желаю подвергать его унижительному отказу. Он добродушно засмеялся.

“Будьте спокойны, отказа не будет”, – сказал он.

Но я так мало знала закулисную сторону журнального дела, что простодушно верила в искренность нападок “Отечественных записок” на Осипа Ивановича и очень неохотно взялась за возложенное на меня поручение. Но и велико же было мое торжество: А.А. Краевский пришел в положительный восторг, хотел с большими пожертвованиями отказаться от издания “С.-Петербургских ведомостей” и ответил мне, что согласен на все условия, каких ни пожелал бы Осип Иванович. Стало быть, велик был талант Сенковского, когда даже литературный враг так его ценил! План новой газеты был уже составлен, свидание “Александра с Наполеоном”, как выразился А.А. Краевский, назначено у меня, но болезненное состояние Осипа Ивановича все ухудшалось, и 4 марта 1858 года его не стало...”

## ИСТОЧНИКИ

О. И. Сенковский. Полное собрание сочинений. СПб., 1859. (Биографический очерк при первом томе).

А. А. Сенковская. Биографические записки. СПб., 1858.

Сведения о Сенковском можно найти также в различных журналах, преимущественно исторических. Сведения эти отличаются большой разбросанностью. Очень любопытны письма Сенковского к Е. А. Ахматовой, помещенные в “Русской старине” за 1883 год. Стоит также упомянуть о статьях А. В. Старчевского в “Историческом вестнике” за 1886 год и некрологе А. В. Дружинина в “Библиотеке для чтения” за 1858 год.

Кроме того, кое-что взято нами из книг Н. А. Котляревского (“М. Ю. Лермонтов”) и Мих. Бор...на (“Происхождение славянофильства”).

---

notes

## Примечания

**1**

Полезное с приятным (*лат.*).

Идиотизм – особенность склада, оборота речи, языка, наречия, местного говора (*Словарь В. Даля*).



праздных, пустых, ничтожных, не стоящих внимания (*Словарь З. Даля*)

Книги имеют свою судьбу (*лат.*).